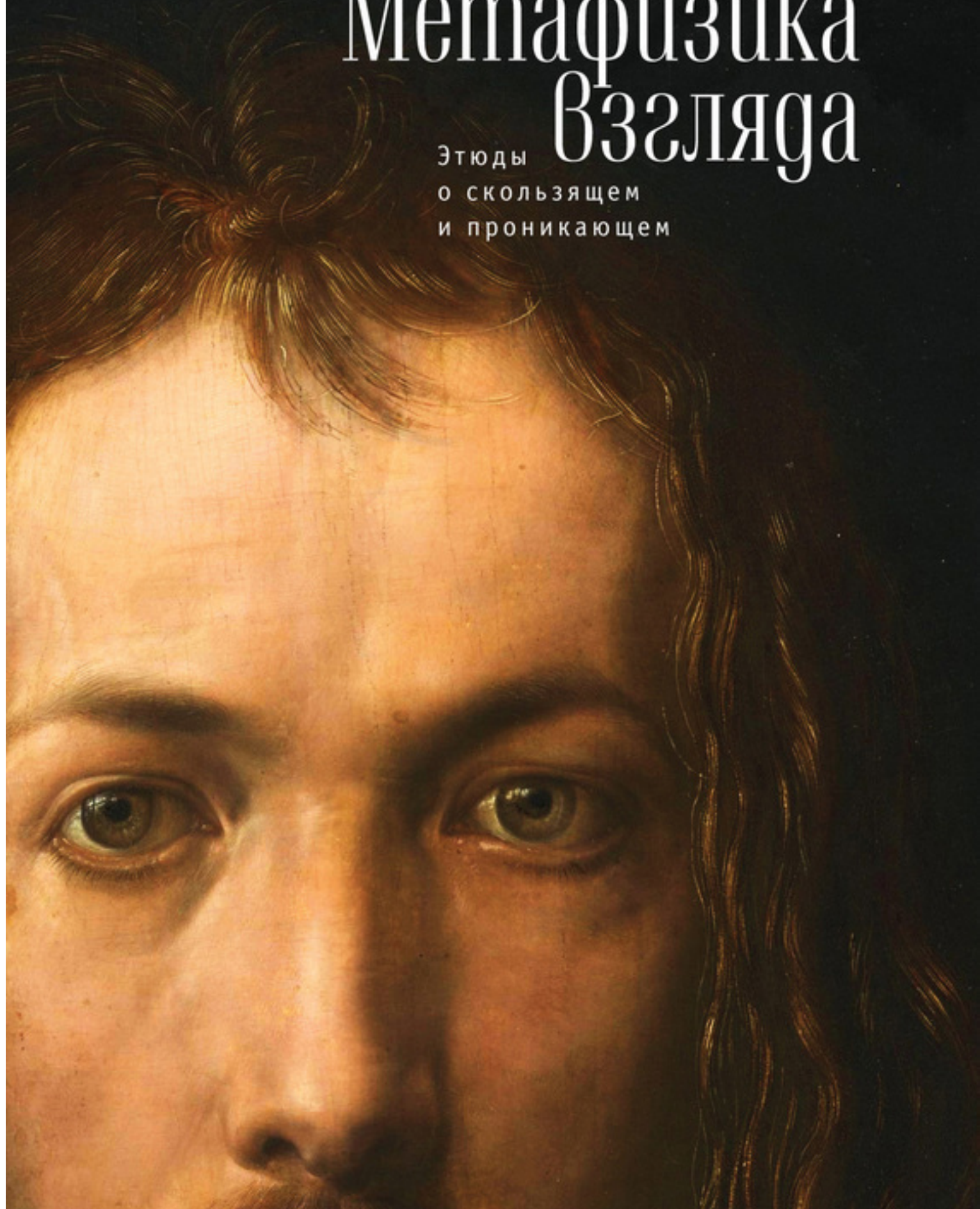


СЕРГЕЙ
ИЛЬИН

Метафизика Взгляда

Этюды
о скользящем
и проникающем



Тела мысли

Сергей Ильин

**Метафизика взгляда. Этюды
о скользящем и проникающем**

«Алетейя»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Ильин С.

Метафизика взгляда. Этюды о скользящем и проникающем
/ С. Ильин — «Алетейя», 2017 — (Тела мысли)

ISBN 978-5-906910-39-4

В новой книге объединены самые различные жанры: философская притча, контрапунктная фантазия, психологический этюд, эссе, классический портрет, бытовая зарисовка, шутливая сценка, мифологическая интерпретация, искусствоведческий комментарий, книжная рецензия, филологический анализ, автобиографический рассказ, схоластический трактат, религиозный диспут и завершающая все и законченная в себе философия. Стилистически всех их роднит стремление темы-мысли раскручиваться и «парить» на едином дыхании. Остается надеяться, что причудливая многожанровая семья с привычной доброжелательностью примет в свой гостеприимный круг благосклонного и любознательного читателя.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-906910-39-4

© Ильин С., 2017
© Алетейя, 2017

Содержание

I. Познавая себя и ближнего	6
II. Метафизика взгляда	57
III. Прикасаясь к мирам иным	88
Конец ознакомительного фрагмента.	93

Сергей Ильин
Метафизика взгляда. Этюды
о скользящем и проникающем

© С. Ильин, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2017

* * *

Виктории посвящаю

I. Познавая себя и ближнего

Четыре города. – То ли потому, что Мюнхен не слишком большой и не слишком маленький, а может потому, что живописная горная речка протекает через самый его центр и на зеленых берегах ее можно беспрепятственно купаться и загорать, то ли по той причине, что славный и в меру одиозный Франц-Иозеф Штраус заблаговременно приютил в этих исконно аграрных краях современнейшую индустрию, а то ли по причине небольшого «магического квадрата», оформившего центр города так, что по нему можно гулять ежедневно – и нисколько не наскучит, или еще потому, что сам фюрер когда-то облюбовал его, а может просто вследствие гармонического архитектурного соседства всех минувших эпох – от Средневековья до современности, – как бы то ни было, но этот город, который даже близко нельзя отнести к числу самых красивых городов мира, тем не менее, по единогласному заверению очень многих и разных людей, разумеется, не коренных мюнхенцев, людей повидавших весь мир и могущих сравнить, является самым благоприятным городом в мире, – просто для того, чтобы жить в нем повседневной жизнью.

Но есть ли для города лучшая похвала?

Зато только в трех городах мира – Венеции, Амстердаме и Санкт-Петербурге – и конечно же по причине их сквозной пронизанности водными каналами непроизвольно рождается желание бродить по ним часами, днями, месяцами, годами, столетиями – и не надоест: тут дело в том, что разорванные образы домов, деревьев, неба и людей не только отражаются в зеркальной поверхности воды, но и как бы уходят вглубь ее, так что складывается впечатление, будто внешний мир не запечатлен намертво на водных зеркалах, подобно насекомым на гербарийных иглах, но обладает таинственными нишами в глубине зеркал, куда он (мир) по странной прихоти исчезает и откуда снова возвращается, а поскольку время, как и свет, имеет не только квантовую, но и волновую природу, то и вся прошлая, но также и будущая жизнь этих городов, вместе с биографиями их прежних и будущих жителей, принимает участие в этом магическом спектакле наравне с настоящим моментом, причем не то, что мы видим, слышим и представляем, бродя как зачарованные по улицам вдоль каналов, существенно, а существенно как раз то, что нельзя видеть, слышать и представлять, – оно и есть единое на потребу: то великое и невидимое бытие, слитное предощущение которого сопровождает нас на протяжении всей нашей жизни и осуществление которого мы обычно видим либо в боге, либо в смерти, – да, вот в такие минуты древняя, как мир, сделка с дьяволом приходит на ум: продать душу дьяволу за возможность вечно бродить по этим трем заветным городам, – и хотя сделка эта заведомо проигрышная – ведь никогда дьявол не предложит человеку больше, чем Господь-бог – все-таки в данном случае это посмертное блуждание по Венеции, Амстердаму и Санкт-Петербургу, разумеется, без ограничений во времени и пространстве, без страха смерти и телесного разрушения, даже без оправданного опасения, что нам все это рано или поздно наскучит, зато с неотразимой – потому что запретной – прелестью проникновения во все дома и квартиры со всей их таинственной внутренней жизнью и в пределах суммарного исторического времени, – итак, это потустороннее блуждание, уступающее заранее господним возможностям – разве астральные миры не превосходят в бесконечные разы ареалы трех названных городов? – да, это фантастическое, безумное, одержимое греховной поэзией блуждание представляется все-таки настолько экзистенциально обоснованным и соблазнительным, что заведомо проигрышная сделка с дьяволом насчет продажи души как-то сама собой приходит на ум, – и не то что бы мы на нее согласились, выражаясь вместе с Атосом, но о ней можно хотя бы поразмыслить на досуге.

Но есть ли для города слава выше этой?

Добрый знак. – Если когда-нибудь в начале марта, выйдя из подъезда и увидев соседа-немца, выбрасывающего мусор (чрезвычайно добродушного и общительного человека) вы спонтанно разговариваетесь и он по ходу разговора, заглянув в безоблачное голубое небо, мечтательно промолвит, что вот наконец-то наступила весна и зимняя депрессия закончилась, а вы сами не зная почему вдруг скажете, что, напротив, весной-то и разыгрывается настоящая, матерая, нутряная депрессия, но сосед не поймет вашу мысль, однако на всякий случай понимающе улыбнется, а вы, поскольку у вас всегда были хорошие отношения с ним и еще по причине вашего боевого настроения в данный момент, подтвердите вашу догадку классической фразой о том, что нынче прямо «Моцарт разлит в воздухе» (а ведь это, в сущности, все равно что сказать: «Я только что позавтракал яичницей»: в том смысле, что как дважды два четыре) и тогда сосед ваш очень пристально взглянет на вас, и в его взгляде вы ясно прочтете два вопроса: первый – «Здоровы ли вы душевно?», и второй – «Не издеваетесь ли вы над ним?» – так вот, после того как вы разубудите его в обоих пунктах и даже искренне попытаетесь разъяснить ему вашу точку зрения, и разговор ваш примет привычное житейское направление, и вы от души проболтаете еще минут сорок, – знайте, что после этого разговора вы ни сблизитесь, ни отдалитесь, и ничего нового вы ни друг о друге, ни о мире не узнаете, – зато у вас будет шанс догадаться, что никогда еще, быть может, ваш скрытый комплекс неполноценности не выражался с такой детской наивностью, с такой гениальной простотой и с таким неподдельным очарованием, – а поскольку тайное, становясь явным, не обязательно исчезает, то и вы после разговора останетесь под впечатлением некоторого томительного недоумения, как и ваш сосед, – и все-таки первый шаг сделан, «лед тронулся», как говорил незабвенный Остап Бендер, и никогда еще никакой день не начинался так хорошо, как этот: в этом вы можете быть вполне уверены.

Но пока только в этом.

Недоразумение. – Прогуливаясь по Зендлингерштрассе, одной из самых характерных улиц Мюнхена, и остановившись в задумчивости подле Старых Ворот из красного кирпича, этой трогательной достопримечательности города, где в аркадах сидит как обычно старик-нищий, рассеянно разглядывая праздную толпу и пытаясь придать лицу униженно-просящее выражение, вы замечаете какую-нибудь грациозно продефилировавшую мимо молодую женщину с точеными чертами лица, осиной талией, белой блузой поверх черной майки, в плотно облегающих джинсах и с теннисной повязкой вокруг высокого сжатого лба; далее, вы видите, что обратил на нее внимание и старик-нищий: в разодранном пальто, смахивающем на картофельный мешок и замусоленной кепкой в руке, он тоже провожает женщину внимательным долгим взглядом, но в его глазах, когда он поворачивается к вам и почему-то неуверенным жестом указывает на кепку, не отражается и следа известного волнения, – и вот как всякому русскому человеку, воспитанному на Толстом и Достоевском, вам хочется сказать ему что-нибудь общечеловечески веское и утешительное, вроде того, что, мол, жизнь, что ты с нами делаешь? – однако он, точно догадавшись о ваших несурзных мыслях, недовольно от вас отворачивается, – и вот тогда экзистенциальная ненужность любого слова, если оно не подкреплено жестом или поступком, а еще лучше, жизненной позицией того, кто его произносит, то есть негласное предпочтение ему волевого молчания и вечной и бесконечной, как универсум, дистанции, – да, вот тогда эта крошечная деталь опять и в который раз бросается вам в глаза как, пожалуй, главное отличие между тем, что есть мир западный, и тем, что мы понимаем под русским миром.

Одержимость порядком. – Как, наслаждаясь жизнью, нельзя все-таки забывать, что всегда и в любом месте может случиться что-нибудь такое, что с этим наслаждением, мягко говоря, совершенно несовместимо, и это принадлежит к сущности самой жизни, так живя

в Германии и пользуясь ее во многих отношениях образцовой организацией социальной и общественной жизни, тоже нельзя забывать, что к вам тотчас же и в течение буквально четверти часа подойдут полицейские, если вы, например, будучи усталым, вздумаете коротко прилечь на скамейке, или, привлеченные какой-нибудь живностью, вступите на газон, или не дай бог! заедете на велосипеде не туда, куда разрешено, – короче говоря, Дамоклов меч за малейшее нарушение немецкого порядка всегда и везде висит над вами, и не то что бы это так уж страшно – полицейские здесь очень вежливы, да и сами вы только внутренне выигрываете, если научитесь уважать величайшую святыню немецкой нации – в конце концов «в чужой монастырь со своим уставом не лезут» – однако эта поистине метафизическая страсть немцев соблюдать порядок в таких мелочах, которые представителям других – и тоже всеми уважаемых европейских – наций даже в голову не придут, страсть, которую можно сравнить разве что с рыцарской скупостью пушкинского Барона или с мрачной одержимостью героев «Бесов», – она, эта страсть, быть может, намекает на какое-то древнее таинственное проклятие, висящее сызмальства над этой великой нацией, – и ни монументальные свершения в области культуры, ни опустошительная слава колоссальных разрушительных и саморазрушительных войн, ни даже примерная забота государства о благе граждан, а также их званых и незваных гостей, – абсолютно ничто не может заставить забыть нас об этом проклятии: оно как родимое пятно, по которому мать даже спустя десятилетия узнает свое родное дитя, и в нем, этом пятне, столько мелочности, чреватой величием, и вместе столько величия, чреватого мелочностью, что, увы! все прочее для чужестранца может выветриться со временем из памяти, а вот эта самая исконная немецкая черточка останется в сознании, точно ее там нацарапали гвоздем: в ней, кстати, при желании можно найти объяснение всем противоположным и мнимо несовместимым между собой проявлениям исторической жизни немцев.

И совсем уже в качестве постскрипtum. – Когда я вижу, как на абсолютно спокойном отрезке какой-нибудь проселочной дороги собираются баварские полицейские, чтобы установить там радар или организовать усиленный контроль водителей, когда я вспоминаю, как однажды прямо передо мной на тротуар выехал полицейский автомобиль, слепя глаза, и у меня проверили документы только потому что я, с точки зрения проезжающих мимо полицейских, подозрительно заглянул в собственную машину (я хотел убедиться, подтянут ли ручной тормоз), и когда я сравниваю все это с нашим семейным голландским путешествием, где за все недельное пребывание в этой чудесной стране мы увидели без всякого преувеличения всего лишь пятерых полицейских – да и то двое из них, точно шутки ради, гарцевали на конях – то кафковская гипотеза о том, что преступление притягивает закон, обретает также и обратную значимость: закон тоже, оказывается, притягивает преступление – в том смысле, что он его самым буквальным образом материализует из пустоты: быть может, точно также как врачи не столько лечат, сколько создают и материализуют болезни.

И как природа кафковской гипотезы насквозь художественна, а значит двусмысленна, так точно зыбко и противоречиво ее приложение к сравнительной криминальной статистике Германии и Голландии: с одной стороны, в Голландии за последнее десятилетие было закрыто около десятка крупнейших тюрем, а в действующих тюрьмах так много свободных мест, что голландцы за деньги содержат там преступников из соседних стран, однако с другой стороны, Амстердам считается после Лондона самым криминальным в Европе городом (хотя я этого совершенно не почувствовал), а суды в Голландии склонны просто многих преступников отправлять не в тюрьмы, а на социальные работы: потому-то так много там свободных камер!

И все-таки противоречие (в статистике двух стран) есть противоречие, его так просто не объяснишь, – и чем черт не шутит: быть может, лучшего его уяснения, чем при помощи кафковской гипотезы, вообще не существует!

Милые странности. – Как же отраднa иной раз страждущему от уныния и скуки взору на европейских улицах та мгновенно бросающаяся в глаза неопределенность в азиатской паре, когда по виду женщины трудно решить, приходится ли она сопровождающему ее мужчине женой, матерью, подругой, дочерью или сестрой, правда, Будда говорил, что все мы были женами, матерями, подругами, дочерьми и сестрами в прежних жизнях, – но ведь тут все сразу и одновременно.

При желании, однако, можно найти к этой истории и своеобразный постскрипtum, а именно: если войти в общение с этими людьми и поближе узнать их, а потом сравнить полученные сведения с вышеописанным первым впечатлением, которое должно было продемонстрировать наше неподражаемое остроумие, – то выйдет довольно сложное и противоречивое ощущение: с одной стороны, нам будет немного стыдно за наш иронический перл, как нам всегда было немного стыдно, когда на место серьезного отношения к тому или иному явлению жизни выступала попытка увидеть его в дымке улыбчивого (само)отрицания, но с другой стороны эта глубочайшая азиатская непроницаемость не позволит нам слишком уж стыдиться подмеченного и быть может несколько надуманного наблюдения, тем более что улыбка над милой парочкой будет являться снова и снова, – и вот тогда мы догадаемся, наконец, что ирония только тогда оправдывается вполне как целостное видение жизни, когда ее субъект готов отдать за нее жизнь, а в идеале еще и в процессе жертвования жизни каждую минуту сохраняет на лице и в сердце ту божественную улыбчивость, которой, кажется, никто кроме Сократа похвастаться не мог.

И потому, чтобы не оступиться и не сойти на ложный путь, лучше вовремя вспомнить, что все учителя человечества и религиозные деятели не жаловали иронию, а значит и нам следует идти вслед за большинством: все-таки жить с улыбкой на лице в той степени легче, чем без нее, в какой трудней умирать, хотя, с другой стороны – и это последний аргумент в пользу Сократа – именно ирония, а не так называемое религиозное чувство, есть главный и единственный признак, отличающий людей от животных, а быть может и от всех остальных живых существ.

Вдали от родины. – Хитрость русского человека как та абсолютно неразстворимая в воде таблетка, что остается на дне стакана, когда после долгой беседы рассосались в душе и в желудке и нечеловеческая откровенность, и нечеловеческое любопытство, и нечеловеческое гостеприимство, и нечеловеческая теплота, и нечеловеческое благодушие, – и вот хочется иной раз выплюнуть таблетку, да вовремя осознаешь, что она подобна тому ребенку в пресловутой ванной, которого все-таки не следует выплескивать вместе с водой, – уж не есть ли сие свойство общий знаменатель нашей ментальности, тот самый, которую имел в виду В. В. Розанов, когда записал свою знаменитую фразу: «Посмотришь на русского человека одним глазком, посмотрит он на тебя одним глазком... И все ясно без слов. Вот чего нельзя с иностранцем».

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить, что ход нашей истории всегда был как бы предопределен свыше – в том смысле, что главный ее участник: русский народ в лице его низших и средних сословий в ней никогда по-настоящему не участвовал, и верхи всегда определяли политически-общественную жизнь в страны: отсюда ее торжественно-однообразный, напоминающий местами православный молебен, характер, а весь национальный организм – точно гигантская декоративная фигура, поднявшаяся на котурнах: она даже не ходит по сцене по причине неудобства обуви, но застыла в величавой, хотя несколько неестественной позе, а вокруг нее повисла тревожная, томительная атмосфера... что-то будет!

Эта странная зловещая тишина, обычно предшествующая катастрофам, повисла над Россией, по-видимому, давным-давно, когда именно, и сказать нельзя, как невозможно опре-

делить хронологическое начало сказки, и ее трудно было услышать, потому что она, как малая матрешка, изначально была облечена в тот великий и предвечный левитановский покой, который, играя роль более крупной матрешки, и по сей день одухотворяет иные российские пейзажи.

Наша великая тишина, из которой вышло все лучшее, доброе, вечное, и наше великое историческое бездействие, породившее то, что отталкивает от нас многие, слишком многие народы, были слиты воедино, и конечно же, триединый славянофильский образ самодержавия, православия и народности, в европейском масштабе являясь глянцевым кичем, все же в нас и для нас кое-что да значил и значит до сих пор, более того, он по-прежнему неотделим от суммарного представления о русской культуре и русской душе, как неотделима от глухой нашей глубинной деревушки какая-нибудь белотелая церквушка с золоченым куполом и малиновым звоном, да еще неподалеку от узкой речушки со степным простором на одной стороне и сосновым бором по соседству с березовой рощей на другом берегу.

В такой вот благодатной, удобренной столетиями тишине трудно расслышать пронзительное безмолвие приближающейся трагедии, как непривычно распознать в странном, бесшумном и гигантском оттоке воды от берега приближающийся из океана цунами.

В такие часы чувствуешь себя зрителем фильма, из которого выключили звук: все вроде бы происходит так, как в нормальной жизни, а звук выключен, звук исчез – душа всего живого и ощущение – точно в кошмарном сновидении, нет чувства реальности, ее место заняла пугающая призрачность, – такое впечатление производит наш Санкт-Петербург: самый нерусский с точки зрения ее предшествующей истории и вместе с самым русским в плане ее же театральной сущности.

Так точно и в жизни отдельного человека бывают минуты, когда ему кажется, что будущего для него больше нет, потому что все главное, для чего он рожден, уже сделано, а исполнение повседневных нужд только усиливает чувство пустоты, сгустившейся вокруг него; подчиняясь инстинкту жизни, он ищет для себя какие-то задачи, способные оправдать его ставшее вдруг ненужным присутствие в этом мире, но все рушится и обваливается под его руками, а сам он, как во сне, падает все глубже в состояние полной прострации.

Такая минута, раздвинутая в эпоху и многие эпохи, есть русская история в ее сокровенном бытийственном сюжете, и в разные периоды нашей истории это чувство присутствовало с неодинаковой интенсивностью, но полностью никогда не исчезало, – вот почему, наверное, русский эмигрант так хорошо и так естественно чувствует себя за границей: нет, он не сделался ни немцем, ни англичанином, ни французом, да у него и мысли такой не было, он остался русским и стал им за границей едва ли не в большей мере, чем прежде, когда жил в России, потому что то характерное ощущение двойного отсутствия – себя в своей стране и страны вокруг себя – оно на расстоянии стало восприниматься острее и отчетливей.

Да что говорить? на днях я ехал в мюнхенском метро, напротив меня сели две русские женщины преклонного возраста, но далеко не старухи, конечно же, недавно приехавшие из России и обосновавшиеся в Германии, и вот одна стала рассказывать другой, как она записалась в какой-то творческий немецкий кружок – ну типа наших песен и танцев – и как все поначалу было вроде бы хорошо, до тех пор пока она не стала регулярно приносить на занятия блины и пирожки и от души ими всех участников угощать.

Сначала ее благодарили, потом как-то стали недоуменно переглядываться, затем вопросительно на нее смотреть и наконец руководительница кружка прямо ей сказала, чтобы она прекратила заниматься подобной благотворительной деятельностью, – женщина обиделась и вышла из кружка: «Я же все от души делала, – пожаловалась она соседке по сиденью, – но немцы, знаете, такие сухие и странные», – и та как будто с нею согласилась.

А я поневоле вспомнил, как в конце семидесятых прошлого века, сразу по приезде в Германию, когда русских здесь можно было буквально по пальцам пересчитать, я все-таки

неприятно морщился, когда вдруг случайно слышал родную речь в общественном транспорте или на улице и, хотя я не мог обойтись без Толстовской Библиотеки, хотя жена у меня была русская, хотя думал и писал я на русском языке и общался удовольствием с некоторыми российскими эмигрантами, хотя мама у меня осталась в России и судьба родной страны была для меня далеко небезразлична, все-таки никогда мне не забыть того тайного, глубочайшего, безраздельного и постыдного по большому счету блаженства, которое я испытывал, будучи отделен от миллионов моих соплеменников тем самым Железным Занавесом, падение которого так приветствовала прогрессивная История, но так оплакивало практически все население Западной Германии и в первую очередь русские эмигранты Первой, Второй и Третьей волны.

Наверное, с тех пор мало что изменилось, потому что, наблюдая в метро за теми двумя женщинами, я тоже тщательно избегал их взглядов и вообще делал все, чтобы в сидящем напротив пассажира женщины не узнали своего соотечественника: ведь если бы я внимательно взглянул на женщин «одним глазком», то и они, быть может, пригляделись ко мне «одним глазком», — и тогда мы «поняли бы друг друга без слов», а вот этого мне почему-то не хотелось.

Почему? быть может, ответ заключен в такой, например, «Эмигрантской балладе». —

Простая история с нами
случилась — от будней сбежали,
и дверцу в стене под плющами
волшебную мы отыскиали,

вошли: за мансардным оконцем
виднелась часть летнего сада —
а лучшего места под солнцем
нам было уже и не надо.

Соблазны мирского уюта —
увы! эмигрантское свойство —
обняли, как щупальцы спрута,
святое души беспокойство,

но стало в сердцах раздаваться
природы кармической Слово:
«В российской юдоли рождаться
придется вам снова и снова,

до тех пор пока не поймете,
что лучшей не выпадет доли —
пока для себя не найдете
на сцене истории роли,

что пыль всем в глаза не пускает
значенья громадного ношей,
а просто игрой убеждает,
как принято в пьесе хорошей».

Мы в шоке и смутной тревоге,

но шепчем в свое оправданье:
«Лишь роль человека в дороге
актерское наше призванье,

а прочее – грубые маски
души необъятной и русской:
куда до истории-сказки
Европе рассудочно-узкой!

Меж Богом и миром природы
нашли мы бездонную бездну,
и в ней приютились – на годы,
как в спальне с женою любезной,

а те, кто нисколько не падки
до этого сложного чувства,
вовек не постигнут загадки
России и просто искусства».

Так мирно поспорив судьбою,
как с грозным в спектакле героем,
мы дверцу в стене за собою
как занавес, тихо прикроем.

Древние боги и серая мышь. – Если вы, будучи эмигрантом и прожив две трети жизни, скажем, в Мюнхене, прогуливаясь однажды поздно вечером по городу в компании какого-нибудь вашего гостя из России, вспомнили вдруг вашу любимую отпускную страну – а ей может быть, конечно, только древняя Эллада или точнее, то, что от нее осталось – вспомнили дискретно-покровительственные улыбки гостей в отельной столовой при виде упрямо просовывающихся в плотно сжатые и тем не менее такие доступные ладони тамошних кельнеров, вспомнили жалобный вой побитой хозяином придорожной таверны собаки, вой, в котором не было ожидаемых упреков, а были только пронзительные сетования на причиненную ей несправедливость, вспомнили, как однажды выдался пасмурный день, около часа накрапывал мелкий теплый дождь, пляжи опустели, туристы разбрелись по городу и их скучающие праздные лица на каждом шагу, точно об стенку, упирались в приветливую непроницаемость лиц местных жителей, вспомнили, как ежедневно совершала свой путь вдоль моря с увесистыми корзинами пожилая статная гречанка, и в одной ее корзине были фрукты, а в другой сладкие лепешки, и женщина невозмутимо выкрикивала свой товар, не расхваливая его и не радуясь, когда находились покупатели, лишь время от времени ставя ношу на песок, посреди бледных намасленных туристов, занявших, кажется, каждый квадратный сантиметр узкой прибрежной полосы, отирая платком вспотевшее лицо, поднимая бремя свое и идя дальше.

Итак, если вы вспомнили все это и готовитесь дальше вспоминать в том же духе, да кто-то неподалеку как назло зажег сигарету, дожидаясь пока его собака, вдоволь нанюхавшись, возвратится из-за кустов, в то время как из побочной темноты грянет на вас колокольный перезвон, возвещающий полночь, и будет в этом перезвоне насильственная, непрошенная весть из потустороннего мира, но будет и акустическая мера, весть эту на лету ослабляющая и приспособливающая к нашему мирскому уровню, – итак, если в качестве маленького чуда состоятся все эти непростые и несоединимые на первый взгляд между собой условия, то

– самое время сходу завернуть за угол, миновать антикварную лавку с древним оружием и грозными масками в полутемных витринах, пройти мимо игрушечной лавки, еще раз свернуть налево и – прямо упереться в греческую таверну, которая будет обязательно иметь скромный вид, а название непременно громкое, под стать гомеровскому эпосу, и конечно же с малым числом призрачно колеблющихся в желтых окнах посетителей в этот предполночный час.

Ну а если, далее, пожилой полный кельнер в жилетке и с широко расстегнутым воротом будет стоять снаружи перед дверью, заложив руки за спину и внимательно наблюдая, как под фонарем мышь поедает хлебную корку, а его молодой и по-видимому начинающий помощник, тоже не зная чем заняться, но не осмеливаясь застыть в монументальной бездеятельности, подобно старшему коллеге, будет протирать для вида окно, если, продолжая, увидев вас, пожилой кельнер с трудом оторвется от зрелища ужинавшей мыши, молча и с достоинством проведет вас вовнутрь таверны, усадит за самый уютный, по его словам, столик в углу: как раз рядом с миниатюрным амурчиком, зажавшим в пухлых ручонках корзину с цветами, если, далее, ваш спутник, поблагодарив вас за приглашение, сейчас же углубится в изучение меню, а вы, оглядевшись, убедитесь, что это типичная греческая таверна за границей, отдающая кичем, но милая взору всякого, кто успел побывать в Греции и полюбить эту коротающую в архаической дреме какое уже по счету столетие островную колонию, и потому здесь обязательно будут, во-первых, неизменный фрегат над баром изумительной ручной работы, во-вторых, сеть под закопченным потолком, где искусно запутались разнообразными и высушенными дарами моря, как-то: гигантский краб с чудовищно непропорциональными клешнями, рыба-меч, косоглазая камбала, чучело спрута, громадные раковины и прочая морская прелесть, в-третьих, любительские акварели на стенах, в-четвертых, дискретно белеющие среди пышной парниковой зелени гранитные копии великих работ древности, а в-пятых и самое главное, с потолка, из замаскированного в щупальцах медузы старенького прибора будет литься заунывная бессмертная музыка, от которой повеет нестерпимой архаической ностальгией, разрыхляющей душу и не открывающей ей выхода в действие, опять-таки в отличие от итальянских или испанских мелодий, – итак, если все эти детали будут иметь место, значит вы сделали правильный выбор и можете считать, что вечер ваш вполне удался.

И тогда самое время заказать запеченный овечий сыр, начиненные фаршированным мясом баклажаны, бараньи котлеты в виноградных листьях с помидорами, а для начала графин домашнего красного.

Когда же, наевшись и напившись, переговорив на все личные и безличные темы, вспомнив всех, кого хранит двойная память, меж вами возникнет, наконец, неловкое молчание: этот милосердный бог смерти любой встречи и любого общения, и вы украдкой посмотрите на часы, жестом закажете кофе, и почти в ту же минуту юноша-прислуга с лицом бога-Танатоса оставит на столе две чашечки с выпуклой поверх краев кремовой пенкой и две рюмки анисовой водки: традиционный подарок хозяина угодным ему гостям... подождите на минуту расплачиваться: обратите внимание, как на пепельном столбике истлевшей до фильтра сигареты запечатлелось название ее марки, – эта обостренная внимательность поможет вам осознать, почему нынешний вечер оказался одним из наилучших в вашей жизни.

Думаете, дело во встрече с вашим соотечественником? да, но только отчасти, или в хорошей еде? атмосфере? настроении? да, и в этом тоже, но все это, поверьте, не главное, – и как черт, согласно пословице, сидит в детали, так главная причина того, почему вы до скончания дней не забудете нынешний вечер, заключается во внимательном созерцании старшим кельнером поедающей корку хлеба под фонарем мыши, потому что – и это ясно ребенку – если бы ее не было, вы попросту прошли бы мимо этой таверны в поисках другой и более

приличной, тем более что их в центре Мюнхена несколько, а вам, собственно, опытный в ресторанных делах приятель рекомендовал как раз ту, что кварталом дальше.

Но мышь все решила.

Кстати, когда вы встанете из-за стола и хозяин, довольный чаевыми, проводит вас до дверей и сердечно с вами простится, а вы с порога ступите во мрак и холод, притворно смягченные неоновым светом, то мыши под фонарем уже не будет, зато по-прежнему угрюмо и неуклюже, точно приклеенные, будут шелестеть на ветвях еще не сорванные ветром бурые листья, – и пусть в октябрьском полуночном мюнхенском небе немыслимы древние светлые греческие боги, все-таки далекая улыбка их, так похожая на мигание бледных звезд, намекает вам, что это, быть может, именно они послали мышь на вашем пути в тот памятный вечер.

Экзотическая зарисовка. – Если в отпуске, в каком-нибудь провинциальном тайландском городке, выйдя из отеля и направляясь, скажем, в магазин, вы встречаете буддийского монаха, гладко выбритого и в оранжевой робе, который прошел мимо вас и исчез за соседним домом, оставив после себя громадный знак вопроса, – ведь его успели раз десять сфотографировать два толстых и вспотевших туриста, прежде чем они принялись дальше поедать мороженое, то вы невольно задумываетесь над тем, в чем, собственно, состоит этот вопрос.

А вопрос состоит в том, что сделалась вопиюще зримой разница между ними: буддийский монах имеет право иметь только чашу для подаяний, иглу для зашивания, бритву и три робы, а сколько вещей у этих праздных туристов? поистине, несчетное количество, и все эти вещи ему, монаху, не нужны, какая бездна вкуса! просто нельзя не позавидовать, что может быть прекрасней? но, с другой стороны, и толстякам-туристам тоже не нужны его чаша, игла, бритва и робы, также и они высказали немало хорошего вкуса в оформлении собственного внешнего облика: стоит только обратить внимание, как колоритно зажаты у них в кулаках сопливые платки и как ладно оттопыриваются из карманов аккуратно завернутые в пакетики буддийские сувениры, – нет, положительно также и у них все на месте, как у того монаха.

Вы скажете, что монах бесконечно духовней толстяков-туристов? может быть, но нельзя согласиться и с тем, что все-таки эта улица, этот городок и в особенности этот мир без сопливых толстых туристов и с одними местными жителями и благородными монахами что-то потеряет: какую-то малую толику той невидимой субстанции, которая и удерживает мир в таинственной равновесии, тем более, что и сами монахи что-то потеряют, если туристы вдруг навсегда исчезнут: ведь на фоне местных жителей монахи уже не так великолепно смотрятся, как рядом с туристами, – итак, жизнь выступает за равновесие, которое, правда, постоянно нарушается, но тут же снова восстанавливается на ином и часто неожиданном уровне, так что гармонию приходится отыскивать заново, и тот, кто склонен ее видеть в мироздании, всегда ее найдет, а тот, кто в нее не верит, нигде ее не увидит.

И что самое интересное – оба будут одинаково правы, и на этом парадоксе, как на библейском ките, стоит мир.

Это сладкое слово свобода. – Нигде, кажется, с такой физиологической остротой не ощущается магическая природа жизненного пространства, как в общественном транспорте, пространство здесь поистине – дышит, и оно дышит вместе с нами и нашими легкими, – и как кусочек пищи, застрявший в гортани, препятствует свободному дыханию и вызывает спазматический кашель, так точно человек, слишком долго и некстати находящийся в нашем принудительном соседстве – разумеется, чужой и не слишком симпатичный человек – фатально нарушает естественное дыхание нашего жизненного пространства.

Подобный казус происходит каждодневно в общественном транспорте, причем если сидящий против нас человек дремлет, читает газету или смотрит в окно – это одно: также и тогда, впрочем, нас не покидает чувство, будто наше неприкосновенное право на свободу

грубо попирается, но мы с наигранной грустью успокаиваем себя, что жизнь нужно принимать как она есть, – если же наш визави начинает еще и сверлить нас глазами или хотя бы искоса непрестанно за нами подсматривать, то наше благосклонно-созерцательное восприятие жизни грубо прерывается извне, – и нам приходится действовать.

Самым достойным ответом в такой ситуации было бы, несомненно, встретить взгляд визави и так долго его выдерживать, чтобы неучливый сосед понял свою бестактность и раз и навсегда отвел бы глаза, однако беда в том, что вуайеризм, как и зевок, заразителен, – и вот вместо того, чтобы прекратить недостойную игру, мы против воли в нее втягиваемся и разве что, стыдясь, стараемся «не попасться»: то есть стреляем взглядами так быстро и незаметно, чтобы наш визави вовсе их не почувствовал.

Поэтому когда он сойдет, мы вместе с облегчением ощутим и некоторое разочарование: вот оно-то и укажет нам истинную цену нашей так называемой свободы духа.

Первородный грех, явленный воочию в общественном транспорте. – Когда к вечеру и после рабочего дня в общественном транспорте к вам подсаживается какой-нибудь небритый, неряшливо одетый, неприятно пахнущий, но все еще чрезвычайно бодрый старик, и, подобно маятнику, качнув бесцеремонно плечами сначала в сторону левого от себя соседа по сиденью, а потом в правую, то есть вашу сторону – дабы обеспечить себе побольше жизненного пространства – комментирует свой жест штампованной фразой: «Это место ведь не занято?», а вы, вместо того чтобы приветливо, пусть и не вполне непринужденно ему улыбнуться в ответ, сказав: «Нет, конечно» и дальше с готовностью потесниться, чтобы подарить ему хотя бы тот абсолютный минимум общечеловеческой любви, который вы вообще в состоянии дать, который вас нисколько не обременит и о даре которого вы сами наверняка не однажды мечтали, под влиянием ли классиков, религии или просто задумываясь о своей душе, – итак, когда вы вместо этого простейшего жеста, который был бы, быть может, единственным нравственным оправданием всего вашего нынешнего прожитого дня, демонстративно отодвигаетесь от этого злополучного старика, так что при этом тесните сидящего справа от вас соседа и, не переставая видеть странно досаждающий вас старческий профиль боковым зрением, смотрите все-таки упорно и надменно в противоположную сторону, – и никогда, никогда, никогда не повернете вы уже к нему лица своего – ни в сем веке, ни в будущем! – да, в эту судьбоносную минуту как раз и следует вспомнить библейскую истину о первородном грехе: с той лишь существенной поправкой, что тот тяжкий и несмыслимый первородный грех висит только на вас одних, только для вас одних он имеет кармическое значение и только вы одни его должны будете отрабатывать всю вашу жизнь и быть может последующие, тогда как небритого старика он ни в коей мере не касается, он ему не подвержен, он просто не о нем, – а доказательством тому является тот очевидный и замеченный всеми факт, что вы все время непрерывно, незаметно и пристально наблюдали за стариком, а когда он вышел, метнули ему в спину прощальный пронзительный взгляд, тогда как он вовсе не обращал на вас внимания, – и вот это ваше полное несуществование в его глазах освобождает его как от ответственности быть хотя бы элементарно вежливым по отношению к вам в общественном транспорте, так и тем более от общечеловеческой любви к вам.

Вы, таким образом, сами того не желая и на собственном примере отдельно взятого человеческого субъекта доказали существование первородного греха, но пойдет ли это вам на пользу или во вред, вы узнаете только тогда, когда... вот именно, когда уже будет поздно.

Фантазия о зеркале или что можно взять с собой. – Когда задний фон стекла совершенно темный и непроницаемый, мы видим в зеркале отражение своих самых чувственных и соответственно преходящих черточек: от разного рода прыщиков, волосинок и морщинок до черт лица, которые по причине физиологической отчетливости тоже наиболее подвер-

жены законам времени, – зато на полупрозрачном фоне, каковы обычно полутемные стекла, играющие роль зеркал, мы замечаем уже и свой рост, и манеру стоять и двигаться, и собственный профиль, и даже угадываем существенное выражение лица, то есть то физиогномически главное в нас, на чем выстраиваются черты нашего характера и наши человеческие отношения, а вот они-то уже почти ничем не отличаются от платоновских идей: нам упорно продолжает казаться, что если что-то в нас и способно пройти сквозь игольное ушко смерти, то это наши психические конфигурации, отделенные от наших же конкретных физических признаков, то есть наша образная сущность, – впрочем, в виде исключения, бывает и так, что человек, минуя фильтрацию несущественного в себе, как бы всей массой своего физического облика, включая и одежду и прочий аксессуар, не то что ломится в потустороннюю действительность – туда наскоком не проникнешь – но непонятным образом готов в нее в любой момент нечаянно провалиться, точно раствориться в волшебном зеркале.

Такое ощущение возникает, например, когда в вагон метро входит старая сгорбленная женщина в полуплаще из искусственной крокодиловой кожи с воротником и рукавами из светлого меха, тоже искусственного, в приличных брюках и полулакированных туфлях: она тащит перед собой тележку с зонтом, кока-колой, свежей бульварной газетой и рекламами, на лице ее солнцезащитные очки, а крупный сгорбленный нос, все еще густые темные брови (так несозвучные с седыми буклями волос), крутая складка у рта и особенно усики над верхней губой делают ее похожей отчасти на мужчину, – что-то серьезное и насмешливое, не жестокое и безжалостное, вежливо-приветливое и глубоко отчужденное и отчуждающее одновременно сквозит во всем ее облике, вызывая тоже противоречивые и внутренне несовместимые чувства: тут и безотчетное уважение к необычной пассажирке, и почти порочное любопытство узнать о ней побольше, чем позволяют даже законы приличия, и категорически-брезгливая невозможность сблизиться с нею при соответствующих обстоятельствах, главное же, здесь читается, как предостерегающий дорожный знак для водителя, указание на то, что мы имеем дело с представителем, быть может, самой загадочной, но и самой проблематической нации в мире, причем загадочность эта сугубо темная и непроницаемая по своей природе, в отличие, например от светлой и прозрачной загадочности древних эллинов или индусов, – однако по части зеркальной магии они все приблизительно равны.

О пользе физиогномики

1. (Горький опыт самопознания). – Посреди шумной европейской привокзальной улицы, в турецкой забегаловке, за стойкой, упершись взглядом в зеркало с виньетками и поедая кебаб, иной раз вдруг удивленно замираешь: ведь так много можно было бы рассказать о субъекте напротив! но удерживает элементарное чувство порядочности, – в сущности, это производит несколько комическое впечатление, хотя и является, быть может, тем последним, отчаянным и так и не вырвавшимся из глотки криком, который свидетельствует о полнейшей безысходности нашей ситуации.

С другой стороны, когда мы особенно внимательно рассматриваем себя в зеркале, нам подчас настолько неприятны иные черточки в себе и в то же время, в силу последнего интуитивного знания о себе, эти черточки кажутся нам настолько естественными и неотделимыми от себя, что мы ими почти против воли вынуждены любоваться, – отсюда происходит то неизбежное приятное оупение, каким обычно сопровождается задержка на собственном отражении в зеркале, и оно же, увя! является основной музыкальной тональностью любой автобиографии.

Вот почему, зная о существовании законов физиогномики, четко определяющих зависимость характера от черт лица, зная, что опытный психолог, мельком взглянув на ваше лицо, как по карте определит вашу сущность, сколько бы вы ни старались мимикой скрыть ее,

зная, далее, что и вам самим изменить ваш характер так же мало возможно, как поменять черты лица, – итак, зная все это, вы будете пожизненно обречены чувствовать некоторую благодарность от всякого случайного взгляда любого случайного человека, который внимательно посмотрит на вас и – не заметит почему-то того очевидного изъяна в вашем характере, который, как прыщ на носу, написан на физиогномической карте вашего лица: и более того, чем меньше окружающие склонны или способны проверять незыблемые законы физиогномики на вашем печальном примере, тем большей вы к ним проникаетесь симпатией, хотите вы того или не хотите, и тем скорее они становятся вашими близкими, друзьями и знакомыми, – этот странный закон напоминает темное солнце в сердцевине нашего мироздания, лучи которого столь же милосердны, сколь небожественны в своей сути.

II. (Директор издательства). – Обнаружив какую-либо неприятную черточку в лице того или иного человека, мы склонны как можно скорее отыскать ее аналог в характере – чтобы восстановилась искомая гармония между физиогномией и психологией, а тем самым мир в наших глазах сделался хоть чуточку более прозрачным и постижимым – и не было случая, чтобы сие благородное начинание нам не удалось: я припоминаю в этой связи директора самого антисоветского без преувеличений печатного органа, что со времен окончания Второй Мировой осел во Франкфурте-на-Майне, – мы туда случайно попали сразу после выезда: искали работу, моей первой жене предложили место машинистки, для меня ничего там не светило, и была, конечно, альтернатива начать новую жизнь у немцев и с немцами (соответственно с курсами обучения немецкому, курсами обучения новой профессии или повышения квалификации, лучшей зарплатой и прочими социальными благами), но тот директор, в общем-то симпатичный человек, хотя иногда напоминавший оскалом лица затравленного хорька, настаивал на том, что для человека русского, хотя и покинувшего русскую землю, единственным подлинным смыслом существования за границей может быть только служение «общему русскому делу», тогда как жизнь посреди немцев неизбежно сделает его бессмысленной атомарной единицей, то есть он в ней попросту бесследно растворится как кусок сахара в реке – и он в этом был безусловно прав! – беда лишь в том, что, как впоследствии выяснилось, дети этого человека, как, впрочем, и дети всех без исключения патронов антисоветского движения в Европе получили прекрасное образование и шли по «немецкой линии», никто из них грязным делом борьбы с «преступным режимом» не занимался, а на эту работу (кстати, плохо оплачиваемую, ожидалось еще и добровольные вычеты от зарплаты на «общее дело») предназначались эмигранты так называемой Третьей волны, вроде нас, – вот и говори после этого, что между лицом и характером нет никакой связи!

Самая чистая и бескорыстная радость. – Испытав радость выздоровления, радость влюбленности и любви, радость моря и леса, радость открытия новой книги, нового человека, новой земли и так далее и тому подобное, то есть испытав, кажется, все возможные в жизни радости – хотя бы в той или иной степени – приходишь к давно известному (по меньшей мере после Будды) выводу, что все они (радости) не вечны и не абсолютны, но слишком зависят от объекта, и если убрать или переиначить объект, то любая радость очень легко и с каким-то даже садистским удовольствием превращается в свою противоположность: неудовольствие и страдание.

Да, это так, но есть ли вполне чистая и бескорыстная радость, не зависящая от причины или объекта, вот в чем вопрос? на первый взгляд, ею может быть только радость от бытия как такового: в самом деле, просто быть без того чтобы чем-нибудь заниматься, что-нибудь думать, чувствовать или осознавать, к чему-либо стремиться и о чем-либо жалеть, – разве это не радость, лишенная своей противоположности? вполне возможно, здесь философская петля закинута так далеко и так широко, что в нее попался весь космос, – но пробовали ли

вы, любезный читатель, хотя бы полчаса ничем не заниматься, ни о чем не думать, ничего не чувствовать и не осознавать, ни к чему не стремиться и ни о чем не жалеть? а если пробовали, то наверняка согласитесь со мной, что в таком subtilном состоянии немало и subtilного страдания, с которым еще нужно работать и работать.

Зато если в один прекрасный вечер случайно забрести во время прогулки на центральный железнодорожный вокзал и с перрона увидеть в окне отъезжающего поезда какого-нибудь давнего знакомого, окликнуть его, заметить, как и он обернется, взволнованно взметнет бровями, захочет что-то сказать, но уж локомотив унесет его на неприличное для разговора расстояние.

Да, именно в этот момент вы и ощутите быть может в первый и в последний раз в жизни ту самую искомую чистую и бескорыстную радость, потому что – осознаете вы чуть позже – если бы поезд вдруг остановился и оклик превратился в длительную беседу, ваше общение, конечно, обрело бы полноценный характер, но не было бы уже той чистой и бескорыстной радости в голосе и особенно во взгляде, самое же главное, если бы эта встреча вовсе не состоялась, ваша радость от прогулки ничуть от этого не уменьшилась бы, а значит она (радость) не зависела от причины и объекта, то есть была поистине абсолютной.

Что и требовалось доказать.

Дороги, которые мы выбираем. – Когда в толпе мы вдруг исподволь встречаем взгляд другого и незнакомого нам человека, то еще задолго до возникновения какого-либо психологического контакта – по времени же эта фаза длится долю секунды – мы чувствуем сквозящую сквозь этот взгляд первозданную и совершенно непостижимую для нас чужеродность бытия: она пронизывает нас как-то сразу и насквозь, так что даже ночное мироздание с его мерцающими звездами, быть может, давно умершими и лучше всего, кажется, доносящее до нас бесконечность мира, превосходя тот взгляд в монументальности воздействия, уступает ему, однако, в завуалированной пронзительности выражения.

Ибо ночное небо все-таки объект, а значит неизбежно подчиняется оформлению нашей субъектности, и какой бы страшный образ мы из него ни слепили энергиями чувств, мыслей и воли, это все-таки наш собственный и производный от нас образ, тогда как пристальный взгляд на нас чужого и постороннего человека, сколь бы безобиден он ни был, означает вторжение в наше жизненное пространство субъекта, то есть живого существа, которое одним своим существованием делает наше бытие и наше мировоззрение куда более условным и относительным, чем это удалось ответившему нам немому взором необозримому полуночному универсуму.

И вот эта субъектная чужеродность любого нашего визави настолько элементарна и вместе настолько действенна, что в ней, как в зеркале, мы читаем и наше онтологическое с ним равенство, и наше кровное с ним одиночество, и наше сходное с ним право на счастье, и нашу родственную с ним обреченность на страдания и смерть, – да, чужой взгляд в толпе показывает нам, точно в магическом кристалле, наше собственное положение в этом мире и нашу судьбу в нем, а кроме того, в качестве бесплатного приложения, взгляд этот ненавязчиво подсказывает нам, что если бы Всевышний соизволил взглянуть на нас, Он бы это сделал как в современной сказке, – приняв образ не нищего, а какого-нибудь случайного в толпе человека или, нотой выше, Всевышний посмотрел бы на нас точно так, как мы сами ответили на взгляд того человека из толпы.

То есть если ответили с любовью – то и сами получили свыше любовь, скажем, в виде постоянных жизненных удач, а если ответили с раздражением и неприязнью – вот вам и тайная причина наших неурядиц и несчастий; как бы то ни было, в чужом взгляде мы фиксируем сначала бездноподобное отчуждение нам по всем параметрам, и это отчуждение мы можем легко расширить и углубить – ответным холодным и безразличным взглядом, но можем и

сузить и даже упразднить – идущей изнутри теплотой наших глаз, теплотой, которая демонстративно не обращает внимание на настроение и внешние обстоятельства: ведь в согласии с неумолимым законом симпатии-антипатии этот застрявший надолго в поле нашего зрения субъект с нескромным взглядом может показаться нам настолько отталкивающим, что простое допущение необходимости с ним долго и интенсивно контактировать вызывает в нас то самое непреодолимое и сартровское: «Ад – это другие».

И кто знает, быть может, идя целенаправленно по этому пути и никогда с него не сворачивая, мы и на самом деле попадем в Ад, тогда как, сумев преодолеть себя и ответив несимпатичному субъекту любящей добротой во взгляде, мы отправимся в противоположном направлении, то есть, даже страшно сказать, в Рай, – ну а если, как это обычно бывает в жизни, ограничиться среднеарифметическим вежливым любопытством и закрыть доступы в себе как наверх, к Богу, так и вниз, в Аид, то, по всей видимости, нам навсегда придется оставаться в Чистилище земного бытия, или, как говорят буддисты, в круговороте вечного перерождения.

Что мы, собственно, и делаем.

Уличное представление. – Только вкусив неотразимое очарование толпы на центральных улицах европейских городов, только обратив внимание, что любой прохожий здесь настолько чертовски интересен, что от него невозможно оторвать взгляд: по крайней мере пока он не исчезнет из нашего поля зрения, и это несмотря на то, что при полнейшей нашей минутной в нем заинтересованности нам совершенно безразлична по сути его биография – таково даже главное условие внимательно-бескорыстного созерцания людей на улице – и только осознав, что в этой глубочайшей и неустранимой фрагментарности человеческих судеб, более того, в самой принципиальной незаконченности любого куска жизни, откуда бы его ни отхватить, заключается не только первичная характеристика бытия, но и его жанрово-эпическая подоснова, – только тогда исчезает раз и навсегда вкус к театру как таковому, исчезает физическая возможность присутствовать в набитом зале, исчезает способность даже в талантливой актерской игре признавать великое искусство, исчезает готовность видеть интересную и живую интригу на месте всего лишь намертво выдуманного сюжета, – да, после урока, преподанного уличной непосредственностью, пропадает вкус ко всему условному, и только одно кажется странным и непонятным: как он мог он (вкус) так долго держаться.

Действительно, когда наблюдаешь за людьми на улицах европейских городов, кажется, что они, непроизвольно подчиняясь какому-то выше них стоящему природному игровому инстинкту, на короткое время – словно только для того чтобы пройти перед зрителями в новом лице – перевоплощаются в каких-то немного других персонажей: по крайней мере непосредственное восприятие от них таково, что в семье они несколько иные, нежели на улице, а на работе и вовсе не похожи ни на тех, ни на других, – но мы заранее и от души верим в их малые житейские перевоплощения, а если верим, значит признаем в них некоторое крошечное, но истинное лицедейское искусство, причем чем шире шпагат между ролью и тем, кто ее играет, тем талантливей актер, когда же нам, в виде исключения, вовсе не удалось распознать в герое знакомого актера – а такое часто бывает в лучшем кино и такое нередко происходит на обыкновенных европейских улицах – тогда мы имеем дело с апогеем актерского мастерства.

А вот на российских и даже столичных проспектах несколько другая игра: там люди видят друг друга насквозь – точно смотрят сквозь стекло, вместо того, чтобы наблюдать за собой в зеркалах, то есть в тех же стеклах, но с темной непрозрачной основой, – последние не позволяют по природе своей всмотреться в них до дна и подарить человеку дурную и неоправданную иллюзию, будто он все до конца в своем ближнем понял, вот почему зер-

кала создают некоторую естественную и непредвзятую атмосферу скромной тайны и повседневного волшебства, тогда как стекла служат, как правило, лишь трезвым и практическим целям, — да, когда смотришь в зеркало, то даже сам себе немного удивляешься, и это хорошо, человек обязательно должен себе немного удивляться, иначе он будет походить на неодушевленную вещь: в зеркале, между прочим, вообще нет неодушевленных вещей, там мир замкнут на себя, самодовлеющ и уникален и плюс к тому еще отражен — его не пощупаешь, и вот он уже по одной этой причине начинает магически притягивать, как недостижимый идеал, а через стекло мир только растекается, как вода сквозь пальцы, создавая ощущение неустранимой, фатальной реальности, в которой столько скуки, предсказуемости, морального шаблона, дурной повторяемости и поразительного однообразия, что она скорее напоминает сон, нежели живую жизнь.

И как в кино постоянно присутствует иллюзия, что все обошлось без искусства: мы не видим ни режиссера, ни сценариста, ни актеров между сценами, ни статистов, ни всех тех, кто обступили с камерами, прожекторами и тысячами вспомогательных приборов ту сцену, которую мы в данный момент наблюдаем, и мы не можем никак вмешаться в игровое действие, тогда как в театре все-таки можно незаметно подмигнуть актеру, и только сообразно этой иллюзии и в пропорциональной от нее зависимости рождается драгоценное и по сути центральное ощущение великого удивления от искусства, так в театре это последнее начисто отсутствует и не может не отсутствовать, а само великое — потому что метафизическое — удивление деградирует до уровня всего лишь чувственного смакования от мастерской игры: итак, рассуждая в гиперболах, театр — как наша сиюминутная жизнь, в которой еще что-то можно поправить, кино — как наша же прожитая жизнь, в которой поправить ничего уже нельзя: тут и размах, и необратимость каждого шага, и вытекающие отсюда серьезность и величие, и судьбоносность, но, как сказано, и некоторый шок, по причине опять-таки непроходимой дистанции между зрителем и актером.

Вообще же, когда в любом постороннем человеке нутром ощущаешь пусть даже малый и незначительный, но самостоятельный и ни к чему не сводимый мир, концы которого, как любил говаривать наш незабвенный Федор Михайлович, сходятся в «мирах иных», тогда и себя самого посреди этого мира воспринимаешь как крошечную звезду в бесчисленном сонме больших и малых мирозданий, и потрясает тогда душу самый великий из всех доступных нам просторов: простор звездного неба, — так вот, крохотное, но истинное его подобие переживаешь иногда на улицах европейских городов, — не потому ли мы сюда приехали? и как иначе объяснить пророчество того же Достоевского о том, что Европа нам, русским, быть может, внутренне ближе и дороже, чем самим европейцам? подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, вынужденным сутками пить морскую воду, от которой они сходят с ума и гибнут, мы тоже давно обезумели от недостатка подлинного живого духовного простора и необходимости пить вместо его нектара мертвую воду пустого и давящего на душу бескрайнего пространства, еще раз! не признавая метафизической (то есть попросту не до конца проницаемой) личности в собрате, мы добровольно лишаем себя дополнительных и важных экзистенциальных измерений, на отсутствие которых потом жалуемся и для восполнения которых едем за границу.

Вот почему русский человек производит глубоко театральное впечатление, в противоположность человеку западному, сходному с образом кино, — нет, каково закручено, а?

Когда между людьми пробегает черная кошка

I. — (Нежданная встреча). — Всякий раз, когда человек уверяется, что его общение с тем или иным ближним — или дальним, неважно — наткнулось на непреодолимые границы — подобно тому, как гоголевская панночка не могла перешагнуть через обведенный Хомой

магический круг – и вот уже сделаны сотни попыток перейти черту: то есть нащупать хоть какую-то мелочь, которая бы связала заново обнаруживших вдруг между собой непроходимую бездну людей, но все эти попытки закончились неудачей и дальнейшими разочарованиями, – итак, всякий раз, когда человек, остановившийся перед вышеописанной роковой чертой, ставит крест на надломившемся отношении, решив для себя, что никогда уже в нем не будет музыки, а если не будет музыки, то и ничего не будет, – да, всякий раз тогда именно и входит в мир царица-Смерть.

Когда же человек в сложившейся ситуации несмотря ни на что продолжает и дальше искать контакт, продолжает работать над собой, верно предположив, что вина на испорченном приятельстве лежит в равной мере и на нем самом, продолжает верить, что рано или поздно его попытки хотя бы минимального сближения увенчаются успехом, – тогда уже входит в мир другая великая миропомазанная сестра: царица-Жизнь.

А еще в жизни нередко бывает так, что вот годами общаешься с какими-то хорошими людьми, и нет между вами вроде бы ни ссор, ни обид, ни даже досадных недоразумений, и они, эти люди, тоже, конечно, считают вас добрыми приятелями, и все идет «как по маслу», и все-таки вы примечаете, что после каждого общения с ними вы как-то странно разочарованы и опустошены, и вы не можете понять, от вас ли это зависит или от них, и так или иначе в душе остается какой-то едва уловимый привкус, как после неудобоваримой еды, и со временем его становится все ощутимей, а вы на глазах уподобляетесь еще и тому снобистскому знатоку музыки, который возомнил, будто в камерном концерте (вашего узкого общения) некий музыкальный диссонанс постоянно оскорбляет его утонченный слух и залегает вечной занозой в душу, – короче говоря, все не то или, точнее, не совсем то.

И тогда рано или поздно наступает разрыв: тихий, потому что никто никого не оскорбил и не обидел, и в тоже время резкий и окончательный, потому что вы твердо решили раз и навсегда избавиться от свербящей в душе занозы.

Но если однажды, спустя долгие годы, во время прогулки, в какой-нибудь отдаленной парковой аллее на другом конце города, куда вы и заходите, быть может, раз в год, вы наткнетесь вдруг на этих людей, и они в первый момент инстинктивно попытаются сделать вид, что вас не заметили – ведь это вы были инициатором разрыва, вы их оттолкнули, вы не искали с ними примирения – а вы как ни в чем ни бывало тепло и от души разговоритесь с ними, поскольку эта встреча вас нисколько не отягощает, она коротка и никаких последствий иметь не может, – так вот, знайте заранее, что после нее вы поневоле будете ждать их телефонного звонка (формального, как мол у вас дела?) или хотя бы думать о нем, и это до скончания дней ваших, – и тихая и упрямая радость от того, что звонок этот так и не последовал, будет отравляться трезвым и ясным сознанием того, что вы, может быть, поступили и правильно, закончив отношение, но все равно не лучшим образом (а как поступить лучшим образом, вы так и не узнаете), и вот это итоговое ваше сознание тоже будет подобно занозе, и неизвестно еще, какая заноза глубже засядет в вашу душу и большее будет там свербеть: прежняя и давняя от общения или заново и после нежданной встречи в парке осознанная от прекращения общения.

II. (Как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем). – Когда люди расходятся по причине «непонятно каким образом слетевшего с губ обидного слова», то расхождение, явившееся неизбежным последствием необратимого воздействия словом – при подобных инцидентах даже запоздалое извинение может только сократить дистанцию, но не вовсе упразднить ее – будучи на первый взгляд досадным и случайным, на самом деле является вполне закономерным, если не «дождавшимся своей очереди», потому что некоторое охлаждение между людьми – как правило, вследствие слишком большой взаимной разности – давным-давно созрело и ждало только случая, чтобы войти, наконец, в открытую

дверь, – и вот что интересно: участники инцидента могли бы своевременно и по доброй воле сделать то, что требует от них ход вещей (в данном случае конфигурация их характеров), то есть заранее и без слов немного отдалиться друг от друга, но нет! именно жизнь и она одна должна расставить все точки над *i*, и она это делает, работая в «двойном ключе»: стихии и случая (вот чего не может человек), а это и есть самый убедительный метод работы, – так что в итоге, сетуя на себя за слово, которое «как воробей – вылетело и его уже не поймашь», люди втайне об этом вылетевшем не столько из уст, сколько из души обидном воробье нисколько не жалеют.

III. (Критическая точка). – Говорят, что в бронированном стекле есть некая критическая точка, от малейшего прикосновения к которой стекло разбивается, и точно такая же точка существует якобы в человеческом организме: касание ее вызывает мгновенную смерть, – но сходным образом и в отношениях между людьми случаются происшествия настолько незначительные – ненароком сказанное слово, мимолетный жест или произвольный поступок – что их даже трудно заметить, – и тем не менее они приводят к разрыву: разумеется, в них нельзя видеть причину расхождения, они были всего лишь зримой пантомимой все той же загадочной пьесы под названием «Тайная несовместимость людей как одна из главных особенностей человеческой природы», причем, как правило, чем тише и незаметней оказалось последнее перед опусканием занавеса действие, тем обычно болезненней, глубже и бесповоротней расторжение бывлой дружбы или доброго приятельства, – если же вообще ничего не было: ни слова, ни жеста, ни поступка, – вот тогда расхождение между людьми самое окончательное и необратимое, то есть наиболее страшное и непонятное.

В чем его причина? думается, в конечном счете в некоей предустановленной дистанции, которая почти на уровне космического закона запрещает данным людям сближаться дальше положенного уровня, и это действует наподобие невидимой занозы, засевшей в сердце: ведь речь идет о принципиальном ограничении начала Любви, в коем мы привыкли видеть источник всего лучшего и Высшего, – действительно, обращает на себя внимание, что практически все самые великие люди в любой сфере деятельности, не исключая религии (за редкими исключениями типа трогательной дружбы Гете и Шиллера) как будто изначально связаны описанной выше изначальной и глубинной взаимной несовместимостью: вот они-то уж поистине не сказали друг другу ни единого слова и тем не менее настоящие, искренние, сердечные отношения между ними абсолютно невозможны.

И вот эта бросающаяся в глаза психологическая особенность общения между «корифеями духа» вносит в музыкальную палитру бытия острую щемящую «гамлетовскую» ноту, и нота эта созвучна и Первовзрыву как гипотетической причине возникновения Вселенной, и его величеству Случаю как возможному источнику жизни на земле, и квантовой природе света и времени, постулирующей метафизический «провал» на клеточном уровне мироздания, и лицемерию звездной полночи, внушающей пиетический ужас, и иным невообразимым преступлениям людей, и разного рода тревожным и необъяснимым событиям и, наконец, образу самой Смерти, о которой мы ничего не знаем и насчет которой можем лишь гадать и догадываться... короче говоря, все это скорее подтверждает, чем опровергает, существование «критической точки» на всех, в том числе и на самых высоких уровнях бытия.

IV. (Чудовища). – Между людьми – причем, как правило, довольно близкими – иногда проскальзывает в словах, но еще чаще между слов и как бы в мыслях, и даже не в мыслях, а между самими порами душевными нечто невообразимо безобразное: нечто такое, что они даже в себе не подозревали (литературный образчик такого безобразия мы находим в страшной догадке Разумихина насчет своего друга Раскольникова), нечто похожее на отвратительную, шипящую, зловонную и ядовитую змею (головой слегка напоминающую отвра-

тительные искажения лица, если взглянуть на себя в этот момент в зеркало), – и только то обстоятельство, что эта змея никогда не выползает наружу, когда люди остаются наедине с собой, но всегда во время общения с тем или иным человеком, – лишь это счастливое обстоятельство спасает людей до поры до времени от чудовищного подозрения, что подобная омерзительная змея живет в самой сердцевине их собственного существа.

Но быть может здесь-то как раз и залегают гносеологические – или онтологические? или те и другие вместе? – корни разного рода безобразных фантастических существ: от кобальдов до драконов, тех самых, без которых невозможен жанр сказки, и существование которых в астральной действительности как будто уже не подвергается сомнению, – во всяком случае присутствие таких чудовищ в межчеловеческом общении очевидно, что же до их конкретного образа, то он вполне может быть предоставлен фантазии: в конце концов ничто поистине важное не является в том или ином законченном облике, напротив, некоторое множество образных вариантов, иной раз даже взаимно противоречивых, гораздо точнее описывает глубинную, то есть и повседневную, и метафизическую одновременно действительность.

V. (Что значит испить чашу до дна). – Чтобы вполне понять ближнего своего, а заодно и себя самого, достаточно представить себя стоящим перед неустранимым выбором: либо заболеть неизлечимой формой рака, причем сию минуту, либо принять облик того самого ближнего: совершенно чужого, непонятного и по большому счету несимпатичного нам человека, – и как прежде, до рокового выбора, присматриваясь к нему (тому человеку) поневоле где-нибудь в городском транспорте, мы мысленно и от нечего делать воображали себе его характер (с нашей точки зрения особенно далекий от совершенства), рисовали в душе его родных и близких (которых мы не подпустили бы к себе на пушечный выстрел), задумывались праздно и о месте его рождения (нас там не было, нет, не будет и не может быть), и о его профессии (конечно же, полная противоположность нашей), и вообще обо всем, что его так или иначе касается (но совершенно не касается нас), – так теперь, когда нам срочно нужно принять судьбоносное решение, мы точно так же и даже гораздо пристальней присматриваемся и к далекому от совершенства характеру (но он нам уже представляется достойным понимания и сочувствия), и к якобы чужеродным нам родным и близким (а ведь сойтись с ними не так уж и невозможно!), и к обстоятельствам рождения, профессии и прочим деталям (а почему бы не попробовать себя в новой жизни?).

Короче говоря, мы перед лицом смертельного приговора оказываемся в этом чрезвычайно деликатном вопросе гораздо сговорчивей, и не то что бы мы уже согласились изменить себе, но живущая в нас неистребимая вера в помилование в самый последний момент как бы оттягивает окончательное решение в измене, и вместе с тем безошибочное предчувствие, что по-доброму все не кончится, заставляет нас тщательней и интенсивней вживаться в облик того, кто может сделаться нашим двойником: этот раздвоенный в себе и противоречивый процесс, по отношению к этой жизни выглядящий как хоррор, вполне реален относительно жизни последующей: как бы то ни было, нельзя в точности сказать, к чему он приведет, можно только предположить, что какой бы выбор мы ни сделали, мы о нем пожалеем.

VI. (Музыка как нравственный императив). – Обращает на себя внимание, что истинная добродетель и нравственная красота настолько скромны, тонки и неуловимы, что их почти невозможно не только классифицировать, но иногда даже просто выразить в словах, тогда как, наоборот, зло и преступление наличествуют зримо и выпукло, недаром люди испокон веков воспринимают все высокие проявления души скорее в поэтическом аспекте, отрицательным же проявлениям человеческой натуры давным-давно поставлен памятник в виде бессмертного Уголовного кодекса, – это происходит потому, что высокие и лучшие качества

человеческой души в конце концов впадают в светоносное безмолвие, как реки в море, ведь уже у Данте Ад скульптурен, Чистилище живописно, а Рай музыкален, из чего прямо вытекает, что и отношения между людьми зиждутся на законах музыкальной гармонии, тогда как любое преступление, любое зло и даже любой безобидный, но мерзкий поступок, являясь отклонением в разной степени от этой изначальной и космической гармонии, предельно вещественен: он имеет некоторую несовершенную форму, некоторую несовершенную плотность и некоторый несовершенный запах.

С другой стороны, отрицательные черты людей в нашем сознании присутствуют всегда наравне с положительными и никогда сами по себе, отдельно от них: поэтому когда какие-то слишком негативные качества знакомых нам людей становятся для нас невыносимы и мы вынуждены отдалиться от такого человека, его положительные черты – которые мы так ценили когда-то – тоже незаметно исчезают и даже умирают в наших глазах, а если мы их и превозносим, то именно как мертвецов, о которых принято говорить одно только хорошее, и это совершенно нормальный и естественный процесс, то есть вместо культивирования одних качеств и ненависти к другим происходит постепенное отчуждение от тех и других вместе, – попробуйте в художественном персонаже мысленно убрать одни качества и оставить другие: он тотчас разрушится.

Ведь даже природа как будто нарочно сделала так, чтобы все вокруг нас нам было одновременно и немного близко и немного чуждо, и в первую очередь наши дети, казалось бы, самые близкие нам существа, по причине принадлежности их новому поколению живут на совершенно иных волнах, нежели мы, а это значит, что музыкального созвучия, этой волновой первоосновы бытия, нам в отношении с нашими детьми очень часто и очень остро не хватает, так что чужие люди кажутся нам подчас внутренне ближе наших детей, – а идя дальше, кто не обращал внимание, что домашние животные и даже, бывает, неодушевленные вещи кажутся нам ближе иных людей: что же говорить тогда об ангелах и богах? итак, все в мире как будто подчинено магической перспективе живописи Леонардо да Винчи, когда бесконечно близкое начинает озвучивать бесконечно далекое, так что и Лейбниц, провозгласивший наш мир «лучшим из миров», и Шопенгауэр, категорически настаивавший, на том, «что будь этот мир чуточку хуже, он просто не мог бы существовать», одинаково правы.

Но если все в мире взаимосвязано, как утверждают философия и физика, то и связь людей с самыми дальними и запредельными мирами, такими, как Бог и дьявол, не подлежит сомнению, и связь эта может быть исключительно музыкального и отчасти фантастического порядка, хотя и Бог и дьявол, по слову Достоевского, живут не далее, как в сердцах человеческих, – однако отсюда прямо вытекает, что не простенькая мораль о «любви и братстве всех людей» является сердцевинкой подлинной нравственности, а тот в высшей мере сложный и непредсказуемый «клубок отношений» между людьми, выразить и запечатлеть который могут только художники.

И тем не менее, несмотря на эту очевидную и всеми интуитивно признаваемую истину, мы все-таки по какой-то странной иронии судьбы пожизненно обречены искать, а стало быть и находить нравственный императив не где-то очень далеко и в запредельных мирах, а совсем близко и в окружающем мире, и он (императив) всегда в значительной мере по субстанции своей легок, тих, неуловим и обязательно музыкален, – но такова именно идея «любви и братства между людьми», которая нам так действует на нервы, над которой мы так смеемся и к которой мы все-таки тянемся всей душой.

VII. (Пепел Клааса). – К сожалению, на каждом шагу приходится наблюдать тот феномен, что самые лучшие наши чувства – и в первую очередь чувство любви, да, именно искренней и бескорыстной любви как единственной психической энергии, способной разрушить скорлупу эгоистического обособления – по отношению к нашим близким и родным

оказываются не то что полностью невозможным, но как бы воплотимыми лишь в малой доли: в том смысле, что любая и уже не однажды испробованная житейская ситуация, в которой любовь должна была бы выразиться, что называется, по максимуму, на самом деле только приводит к разочарованиям, и разочарования эти тем неожиданней, глубже и горче, чем настойчивей обе стороны пытаются задействовать самое лучшее в себе – а это действительно любовь, и голос сердца нас не обманывает.

И вот поневоле образуется некий неиспользованный и по сути неиспользуемый резервуар тонкой энергии, который накапливается в нас и как бы непрестанно постукивает в наши сердца, подобно пеплу Клааса, но ответа не находит: двери посторонней души для нашей любви и двери нашей души для любви со стороны по каким-то непонятным роковым причинам остаются закрытыми и все ограничивается ощущением смутной тоски и скорби, как при восприятии какого-нибудь произведения искусства – Моцарт! – когда благородные наши чувства пробуждены, но выхода не находят.

В такие особенно запоминающиеся минуты хочется думать и верить, что описанные выше психические энергии не исчезают из мира, но растворяются в небе, точно бунинское «легкое дыхание», и какая-нибудь особенно восприимчивая поэтическая натура способна выловить их из космоса и заново использовать: уже в творчески-преобразовательных целях, – в самом деле, разве не присутствует в нас тайное убеждение, что все самое лучшее в искусстве напитано именно этими самыми и никакими другими выше описанными энергиями?

Загадка врожденной антипатии. – Как часто приходится обращать внимание: коллеги на большом предприятии, ни разу между собой не общавшиеся, но прекрасно знающие о взаимном существовании, зачастую склонны, сталкиваясь в коридорах или на лестницах, под благовидным предлогом не здороваться и даже отводить глаза в сторону, но те же самые коллеги, встречаясь в городе, уже сердечно и внимательно приветствуют друг друга, – случись же им повстречаться за границей, они и вовсе вошли бы в короткое общение: так что, нужно полагать, сведи их судьба на необитаемом острове или в ином мире, они, пожалуй, стали бы даже добрыми приятелями.

Однако здесь не следует обольщаться: то обстоятельство, что эти люди интуитивно старались избегать друг друга, насколько позволяли законы приличия, скорее всего намекает на невозможность сближения между ними по-настоящему никогда и ни при каких обстоятельствах, да они и сами в глубине души об этом догадываются, и потому стараются сводить общение к минимуму, то есть там, где можно, продолжают заблаговременно избегать друг друга и не встречаться даже взглядами.

Тем самым, дабы устранить следствие, они подрывают на корню его причину, ибо, раз внимательно взглянув друг в друга, можно ненароком проникнуть в чужую душу, а через нее и в свою собственную, – в данном случае некоторая взаимная врожденная антипатия или, выражаясь мягче, психологическая несовместимость, может сказать нам о себе больше, чем мы хотели бы знать: итак, лучше не шутить с огнем, потому что нередко в жизни случается так, что один человек, единожды взглянув на другого, начинает испытывать по отношению к нему необъяснимую антипатию, доходящую до одиозной ненависти.

В чем здесь причина? я думаю – в том, что человек не просто предчувствует, но точно знает, что при определенных, а иногда даже и при любых обстоятельствах у него с тем антипатичным человеком возникнет неразрешимый, а то и прямо смертельный конфликт и конфликт этот предотвратить совершенно невозможно, – но это означает, что будущее способно реально вторгаться в настоящее, пусть в данном случае и в самом безобидном варианте безошибочного психологического предчувствия того, что – будет.

Так, произошло, в частности, в конце 2013 и начале 2014 годов, когда в Украине имел место на первый взгляд необъяснимый и мнимо немотивированный взрыв ненависти по отношению к российскому соседу, тогда еще не было ни взятия Крыма, ни Донбасских войн, а ненависть уже была, ее, конечно, можно объяснить событиями прошлого, но прошлое, сколь бы кровопролитным оно ни было, по самой своей природе источает покой и тягу к забвению, не то будущее: от него веет субтильным и глубоко метафизическим беспокойством, так что любое, даже самое счастливое будущее, внушает нам некоторое тонкое и необъяснимое беспокойство, – что же говорить тогда о будущем, чреватом полным разворотом на Запад и гражданской войной?

Вот не просто предчувствие такого будущего, а как бы абсолютно точное знание о нем, точно оно уже наступило, – вот оно-то и стало, по-видимому, причиной той односторонней и одиозной украинской ненависти к русским, которую нам так трудно понять.

Ну, а американцы ей только воспользовались.

Искусство непричастности

I. (Очевидные преимущества недеяния). – Чем глубже и выстраданней наш жизненный опыт, тем парадоксальным образом дальше уходим мы от постижения сути жизни: ведь последняя не есть какая-нибудь кантовская «вещь в себе» (в таком случае мы как раз имели бы шанс посредством неординарного прорыва, полета или подползания, в зависимости от ситуации, проникнуть в ее сердцевину), но целокупное множество практически бесконечных взаимосвязей, – и вот, «вгрызаясь» в пласты жизни, как отбойный молоток вгрызается в камень, мы всего лишь создаем свою туннельную нишу, и из нее уже, как из платоновской пещеры, рассматриваем и познаем мир, а другого способа постижения окружающей действительности нет, не было и не может быть, – так что в конечном счете чем тоньше стены пещеры и чем больше там светоносных окон, тем лучше мы можем видеть и осмыслять мир: логично, не правда ли?

Учитывая же то, что жизнь в основе своей противоречива и даже антиномична, так что и любой человек наделен чертами характера, которые мы часто не в состоянии связать воедино, получается, что, увлекаясь какой-то одной стороной повседневности или нашего ближнего – а в этом-то по преимуществу и состоит так называемый личный опыт – мы неизбежно упускаем другую и противоположную сторону, так что, по логике вещей, совсем не допускать болезненного вживания в какую бы то ни было проблему, нигде не искать добровольного (в отличие от навязанного обстоятельствами) страдания (которое в наибольшей степени определяет наше мировоззрение), ничему не дарить своего исключительного внимания, сил ума и в особенности энергий чувств, – это и значит как раз собственными руками превращать железобетонную пещеру богатой личным опытом биографии в прозрачную и светоносную обитель духовного бытия, зарубив попутно себе раз и навсегда на носу, что любой личный опыт может столько же давать человеку во второстепенном и психологическом плане, сколько отнимать от него в плане основном и духовном, – что он, кстати, этот пресловутый личный опыт, и делает.

Так странным образом после посещения Парижа мне почему-то трудней стало воспринимать деяния моих любимых мушкетеров плюс похождения героев Бальзака плюс изнеженно-жестокую атмосферу при дворе «Короля-Солнца» плюс кровавые оргии Великой Французской революции и плюс так далее и тому подобное на едином духе и в едином художественно-историческом пространстве, нежели до того, когда я знал Париж по разного рода фотографиям, фильмам, рассказам, описаниям, художественному чтению и, наконец, моим собственным представлениям о нем, – да, как ни удивительно, все это пестрое, разбросанное и многогранное восприятие помимо личного опыта визитера позволяло увидеть фран-

цузскую историю и французскую литературу тем не менее в некоем первозданном целомудренном изумительном единстве, тогда как личный опыт узрения великого города «своими глазами» названное чудесное единство непоправимо разрушил.

Или, побывав в Греции, мне поначалу ближе стали красоты гомеровского эпоса, однако в итоге и очень скоро именно прилепившиеся к душе через ухо и глаза неотразимые физические подробности нынешнего греческого пейзажа сделали органичное и непосредственное – в этом все и дело! – восприятие фантастического мира Гомера делом затруднительным и даже почти невозможным.

Наконец, мой личный опыт с женщинами, как я могу судить, позволил мне узнать женщин на каких-нибудь десять процентов, а оставшиеся девяносто процентов я «добрал» от внимательного и ни к чему не обязывающего наблюдения за чужими и посторонними женщинами, причем чем меньше я о них знал (то есть я ничего о них не знал и знать не мог), тем полней и всесторонней были задействованы суммарные энергии моего ума и интуиции, а в этом-то и заключается смысл сведения к минимуму любого сугубо личного опыта!

Потому что, и это очевидно, личный опыт нам абсолютно необходим, для обретения его мы только и приходим на землю, но как смысл одного замечательного упражнения йоги под названием «поза змеи» состоит в том, чтобы, лежа на животе, как можно выше изогнуть верхнюю часть тела, без того чтобы оторвать пупок от земли, и как природа всегда и везде склонна идти кратчайшим путем, так желательно при минимуме личного опыта добиваться максимума духовного обогащения.

Блестящий пример указанной закономерности у всех нас перед глазами: Будде, согласно легенде, достаточно было одного-единственного наблюдения, а именно, что всех людей ждет болезнь, старость и смерть, и на нем одном он построил свое учение, – ясно, что меньше этого никакой личный опыт быть не может.

Итак, чем меньше по объему личный опыт и чем он, так сказать, нейтральней, то есть по возможности исключает любые дополнительные страдания (в которых апологеты противоположной точки зрения, типа Достоевского, усматривают, наоборот, единственный источник духовности) тем лучше, не забудем: самые великие творцы, типа Будды, Баха или Льва Толстого помимо классических болезни, старости и смерти никаких других страданий не узнали, а в наши дни непреходящую значимость вышеописанного духовного закона «максимума при минимуме» вам продемонстрирует любой мало-мальски продвинутый буддийский монах, который всю свою отшельническую жизнь провел в труде и медитации, но который, если вас поставят перед ним, расскажет о вас больше существенного, чем все ваши родные и близкие вместе взятые, включая вас самих, а заодно и как бы впридачу напомним вам о вашей прежней жизни и намекнет о вашей жизни будущей, – вот и сравните подобные духовные откровения с нашими любыми мирскими личными опытами!

II. (Быть или не быть – вот в чем вопрос). – Просматривая историю и видя в ней разнообразные, красочные, бесчисленные и блестящие деяния, а также их творцов – тех самых пресловутых хрестоматийных «исторических героев», шире: любых выдающихся людей, которым, кажется, нельзя не позавидовать, потому что для чего же еще родиться в этой жизни как не для того, чтобы оставить в ней «настоящий глубокий след»? – итак, бегло просматривая многотомную книгу историю, мы поначалу вроде бы завидуем ее главным героям, то есть людям, которые ее сделали, и все бы дали за то, чтобы быть на их месте, – однако, если мы дадим себе труд поглубже всмотреться в себя самих и задуматься о нашей внутренней непреходящей природе, мы будем вынуждены сделать весьма неожиданный для нас и очень даже парадоксальный вывод, а именно: будучи поставлены радикально перед выбором – быть там, в пекле событий и оставить навечно на скрижалях истории свое имя или остаться навсегда в тени, чтобы все эти знаменитые и судьбоносные события прошли

мимо нас как сон или видение (что и произошло с нами как будто на самом деле), итак, имея подобный обоюдоострый выбор, нам почти невозможно было бы добровольно принять то или другое решение, а если бы нас все-таки принудили к нему, мы скорее выбрали бы второй вариант, чем первый.

То есть небытие не как пустая философская абстракция, а как центральная и чрезвычайно субтильная психическая энергия – в данном случае итоговое сознательное нежелание участвовать в бурной (исторической) жизни – осиливает бытие, и это интереснейший и принципиальный момент: разумеется, мы не в силах раз и навсегда зачеркнуть жизнь, выбрав так называемое «чистое небытие», – но последнее не существует в реальности, и доказательство его несуществования заключается как раз в том, что нам не дано категорически отказаться от нашей простенькой и «никчемной» повседневной жизни, однако мы это делаем как бы потому, что нет иного выхода, то есть эта наша скромная жизнь гораздо ближе стоит к реальному и сугубо относительному небытию, чем, например, богатая событиями жизнь исторического героя.

И потому наше отношение к нему глубоко антиномическое: с одной стороны, мы ему немного завидуем, потому что он врезался в жизнь так глубоко, как метеорит при падении врезается в землю, но, с другой стороны, он этим самым врезанием предельно отдалился от тишайшего блаженного бытийственного покоя минимального деяния, к которому все мы инстинктивно стремимся, втайне предпочитая мелкие и как бы символические деяния повседневной жизни, которые наиболее сродни действиям, производимым нами во сне, тогда как тот же самый исторический герой подобен, как уже сказано, метеориту, который либо с громадной скоростью вращается вокруг своей смысловой планеты и ничто уже не может убавить скорость вращения, либо с неотвратимыми кармическими последствиями врезается в нее, а третьего для него не дано.

Человеческая история вообще для непредвзятого ума предстает как прекрасный античный город, разрушенный чудовищным (подобным Лиссабонскому) землетрясением: повсюду примечательные обломки, которым в культурном отношении цены нет, и все-таки, копаясь памятью и воображением в этих обломках, не говоря уже о реальном допущении, что это вы могли жить и творить в том античном прекрасном городе, и это вы – безразлично в каком смысле – лежите под его обломками, итак, слишком вживаясь в раскопки умозрительного города-истории, рождается ощущение (пусть слабое, зато неистребимое) заживо погребенного: не хватает воздуха и нет легкого дыхания, а та бессмертная слава, что веет над останками умерших героев (пожизненных граждан античного города), психологически не уравнивает отсутствие свежего воздуха, – вот и получается, что мы вечно обречены метаться между бытием и небытием, а жизнь, выступая в двух своих основных обликах: громкой жизни и тихой жизни, не только не облегчает наш решающий выбор, но прямо усложняет его до невозможности.

III. (Великое лицезрение подъездной двери). – Как подметил непревзойденный Кафка, чем дольше мы стоим перед дверью, куда хотим постучать и за которой нас не столько ждут, сколько мы сами ждем, что нас ждут, тем труднее нам постучать в нее, так что в конце концов, если невидимая черта ожидания перейдена, мы вынуждены тихо повернуться и уйти восвояси.

Правда, обычно этого не происходит, потому что повседневная наша жизнь расписана, как репертуар провинциального театра, и преодолеть гравитационную силу приглашения в гости нам, как правило, не дано, между тем, если дать себе труд вдуматься в сам по себе элементарный, но весьма неординарный феномен долгого лицезрения двери, то оно, это лицезрение, несмотря на свою изначальную комичность, может при определенных условиях трансформироваться в самое настоящее откровение.

И вот как это может произойти.

Когда мы стоим перед свершением поступка, который продиктован основным нашим настроением на данный момент, но тишайший голос интуиции не то что бы отговаривает нас от него, но советует нам как следует его продумать, потому что мы наверняка будем сожалеть о последствиях, и тогда нам придется взвешивать непреодолимый инстинкт деяния и неустранимое сожаление от него, – так вот, тогда это обычно означает, что несвершение поступка ценнее, нежели его свершение.

И тогда мы впервые прикасаемся – не умом, а всем существом своим – к тому, что на заре Средневековья называлось отрицательной теологией, только там подразумевалось, что о Боге можно говорить лишь негативными определениями: что Он не есть на самом деле, потому что о том, что Он есть в себе самом, нам даже приблизительно не дано судить.

Но ведь и к миру можно относиться, как к неведомому Богу, и тогда получается, что любой поступок ведет к обогащению нашего внутреннего Я, независимо от того, какой знак стоит перед ним: плюс или минус, здесь опять перед нами первооснова человеческой психики с ее одинаковой открытостью как к добру, так и ко злу: наше Я склонно приобретать любые опыты, в том числе и сознательное делание зла другим, мы собираем такие опыты как грибы: главное – сначала сорвать и положить в корзинку, а потом уже, дома, при жарке разберемся, плохие они или хорошие.

Действительно, есть все основания полагать, что даже из самых мерзких деяний путем их искреннего осмысления и покаяния может со временем выйти что-то очень хорошее, а значит и их свершение было не только не напрасным, но даже в какой-то мере оправданным.

Очень скользкий, однако, и опасный путь, потому что, как бы сладко ни было покаяние в дурных делах и каким бы преображенным ни выходил из него человек – слова и музыка нашего Федора Михайловича – преображение это временное и неполное, главное же, оно полностью зависит от покаяния, довольно сладострастного, нужно сказать, чувства, а кроме того, само покаяние напрямую зависит от дурных поступков: нет зла – нет и раскаяния, нет раскаяния – нет и очищения, и вот весь этот сложнейший, противоречивейший и в глубочайшей мере псевдо-духовный процесс, на котором, как на гвозде, висит все творчество Достоевского, застопоривается.

Я оказывается без питания, ему нечего переваривать, за неимением поступков – две трети из которых именно такие, которые лучше было бы не делать – оно вынуждено настраиваться на лечебное голодание, но последнее всегда целебно как для души, так и для тела, и в воздержании от скоромной пищи для внутреннего Я путем несвершения иных поступков, в которых нам придется когда-нибудь обязательно раскаяться, заключается громадный потенциал.

Здесь можно увидеть аналогию со сходными местами из каких-нибудь черновиков к какому-нибудь роману, где герои тоже иной раз делают не то, что предполагает начальный и невызревший авторский замысел, и если автор вовремя не исправляет те поступки своих героев, которые, согласно художественной идее – а она, как известно, не ошибается – не должны были быть сделаны, то он потом неизбежно и горько раскаивается, как раскаиваемся и мы на каждом шагу в жизни, делая что-то такое, что лучше было бы не делать, причем от раскаивания трудно отучиться, оно сродни духовному хулиганству, а русский человек ой как любит похулиганить.

Вот если бы в содеянии иного зла видеть грубейшую стилистическую ошибку, которая портит нас как неважно кем задуманный, но на две трети нами самими непрерывно сотворяемый образ, ошибку, которую быть может уже и поправить нельзя, и которая, как любил говорить Талейран, хуже любого преступления... да, кто знает, – быть может, такое художественное сознание способно было бы куда эффективней нравственно очистить человека, нежели любая мораль, что говорю? так оно и есть на самом деле при ближайшем рассмотре-

нии, иначе быть не может и никаких тут доказательств не нужно: достаточно просто внимательно и нелицеприятно взглянуть на ход истории, присмотреться к ее действующим лицам, а главное, как следует понаблюдать за самим собой.

И вот окажется, что, прослеживая на склоне лет искренне, беспристрастно и до последней глубины – это обязательное условие анализа! – сделанные и несделанные опыты жизни, приходишь к выводу, что в том случае, если мы могли совершить какой-то немаловажный для нас жизненный опыт, и все-таки по тем или иным причинам не совершили его, у нас в душе и почти помимо воли и сознательной работы ума является ощущение некоторой удивительной, безусловной и как бы первозданной чистоты.

С другой стороны, параллельно и на одном дыхании, точно вторая ветвь на одном и том же суку, возникает в душе столь же удивительное и неотразимое в первозданной чистоте своей ощущение сожаления насчет тех же самых несделанных опытов жизни: вот, мол, упущено уникальное бытийственное переживание, которое уже никогда не сможет повториться.

Догадавшись, что это и есть, пожалуй, два самых subtilных, глубочайших и антиномических ощущений, доступных человеку, что они знаменуют последние границы восприятия бытия, и что их поэтому можно сравнить опять-таки со Сциллой и Харибдой – с чем же еще? между которыми вечно плывет и движется наша жизнь... итак, догадавшись об этом, остается только проверить эту великую, но пока гипотетическую истину на собственном опыте.

У меня это произошло в прошлом году.

Перед Рождеством я опять стоял перед той подъездной дверью, справа от которой была вмонтирована в стену металлическая табличка с еврейским именем, людей, что там жили, я в последний раз видел тридцать пять лет назад, мы с первой женой изредка приходили в ним посмотреть телевизор и поболтать о том о сем, это были муж и жена, эмигрировавшие из России в начале семидесятых и осевшие в Мюнхене. Он, полненький, лысоватый, с курчавым высоким лбом и петушиным взглядом, она – высокая, стройная и очень спокойная, когда говорил он, умолкала она и наоборот, так что то великое и тайное, что их связывало, оставалось всегда недоступно для их собеседника, и он уходил с тем ощущением легкой заинтригованности, благодаря которой общение никогда не бывает скучным, хотя в нем не было ничего, что можно было бы назвать нескучным.

Мы познакомились с ними через еврея-шофера, который нелегально перевез нас из Вены в Германию, сам он жил с женой и дочкой в Оффенбахе под Франкфуртом, мы у них прожили неделю, не зная куда податься и к кому обратиться, прежде чем волею случая осели в Мюнхене.

И вот, спустя полжизни, я опять стоял перед дверной табличкой, на кнопку под которой я столько раз нажимал давным-давно, время утекло как вода между пальцев, – неужели только потому, что прожил на чужбине?

Как же мне хорошо было здесь! и как тревожно думать о том, что моя западная и настоящая, как мне хочется думать, жизнь мне ни разу не приснилась, а снились и сняты лишь эпизоды и их фантастические вариации из той прежней и вечной, российской и саратовской жизни.

Значит ли это, что мою западную жизнь закон кармы слизнет, как корова языком? и я опять появлюсь на свет в каком-нибудь провинциальном российском городке? и опять начнутся сладость, беспросветность и ужас провинциального бытия – именно в том же порядке – а потом отчаянная попытка выбраться, и неизвестно, удастся ли она, и если удастся, я опять смирюсь с общим сюжетом жизни и буду с удовольствием умом и сердцем его обсасывать, а если не удастся... вот какие странные мысли приходят в голову.

Как бы то ни было, я очень большое внимание придаю снам, быть может, здесь сказывается моя природа игрока, – и сны как главный козырь могут в решающий момент либо

выиграть игру под названием «смысл жизни», либо в пух и прах ее проиграть, а как это в точности произойдет, спрашивайте уже у тибетских буддистов: они знают.

Ну а с теми людьми мы расстались, как будто знали друг друга вечно, и потому регулярно отмечаться в знак приличия хотя бы раз в год было как бы необязательно, – вот мы и не отмечались, просто в соседнем доме практикует мой адвокат, и всякий раз направляясь к нему, я коротко заглядываю на знакомую табличку, быть может инстинктивно любопытствуя, живы ли мои давние знакомые: они были живы.

И вот теперь, наконец, спустя тридцать пять лет, я решил навестить их: у меня просто страсть встречаться с людьми раз в несколько десятилетий, в этом есть что-то нечеловеческое, я знаю, – но ведь и какое сверхчеловеческое величие! нет, что там ни говори, а только в общении, разделенном широким потоком времени, есть та монументальная значительность, которую не замутит никакая банальность, и это значит, например, что можно говорить все, что заблагорассудится – а выйдет прекрасно и величественно, – такого не бывает в повседневном общении, впрочем, это может быть и тайное оправдание все того же комплекса неполноценности в аспекте общения.

Итак, я уже решил, какой подарок я им сделаю, и положил его в корзинку для покупок, но перед самой кассой вдруг усомнился: а правильно ли я делаю? а что, если они совсем не рады будут меня видеть? подарок, чашка кофе, воспоминания... ну, а дальше? ведь провожая меня до двери, встанет вопрос о новом приглашении с моей или с их стороны, и нужно будет мучительно решать, поддерживать дальше отношения или ограничиться вот этим странным посещением, если поддерживать – то почему это нельзя было делать прежде, когда было и время, и силы, если же не поддерживать, то все это еще более странно и неприятно.

А кроме того, я вспомнил моих старых приятелей: итальянца и немку, с которыми мы дружили лет двадцать, потом они исчезли из моей жизни по причине развода с женой: общие знакомые как будто делят судьбу супружеского расхождения, однако я встретил их случайно на Зендлингертор – я был тогда со второй моей женой – и все пошло замечательно и лучше прежнего: они нам дали ключи от своего итальянского загородного дома, и мы там провели самый лучший отпуск нашей жизни... но потом и это приятельство было вдруг прервано, я уже не помню, когда именно, почему и как.

Спустя десять лет, я, помнится, вдруг во что бы то ни стало захотел до них дозвониться, но не смог, и поехал к ним без приглашения, но застал одного Джакомо, и он мне открыл, как будто не удивившись моему приходу, и мы болтали, как прежде, и он мне показывал опять свою коллекцию марок и медалей, но когда я у двери попросил у него номер телефона, он сказал, что его у нет под рукой, и что он сам позвонит.

Никакого звонка, конечно, не последовало, и не было никакой взаимной обиды, наступила просто глубокая старость с его стороны, и у него исчезла потребность общения, а поскольку он тоже был таким же заядлым эгоистом, как и я, он не счел нужным объясняться и оправдываться.

Так мы и расстались навсегда, а знакомство с ним все-таки осталось в моей душе как одно из самых удачных и приятных, может быть, потому, что там ни на йоту не было тягостного и напыщенного интеллектуализма, столь неизбежного в общении между русскоязычными людьми.

Так к чему же я веду? ах, да, вспомнив о Джакомо, я окончательно понял, что мое неожиданное посещение тех людей из далекого прошлого было бы непростительной ошибкой, ибо прошлое слишком величественно, чтобы позволять без повода в него вмешиваться и делать из него прозаическое настоящее и все-таки, когда я выкладывал подарок из корзины, у меня было грустное чувство: я добровольно отказывался от одного из самых subtilных опытов и это можно трактовать как отказ от самой жизни.

Может быть и так, но в этом я вижу скорее достоинство, чем недостаток, все-таки что-то я приобрел взамен, – незапятнанная чистота прошлого тоже ведь чего-то стоит.

Не вполне апокалиптические звери

I. – Раз подметив, что за многолетним идеальным браком может скрываться – и наверняка скрывается – обыкновенная и фатальная неспособность соблазнить или увлечь другую женщину (или мужчину), вдруг мгновенно осознав, что десятилетие за десятилетием отбывающие срок жизни супруги нашли для себя всего лишь благоприятнейшую с моральной точки зрения маску – безукоризненную в плане житейской игры, снимая которую боишься уже повредить лицо, – и вместе с тем столь же внезапно и остро почувствовав, что их не в чем упрекнуть, что в их лебединой верности может быть сокрыта «соль земли», и что так глобоко подкапываться под людей просто нельзя без того чтобы насчет тебя самого не возникли те же самые последние и страшные вопросы, – итак, осветив хотя бы с одного бока тусклым светом заскорузлого житейского сознания весь этот запутанный клубок (между прочим) центрального человеческого отношения, начинаешь невольно воспринимать не чужую или свою, а саму душу человека как таковую не в привычном амплуа абстрактной и безвидной – то есть доступной разного рода светоносным манипуляциям – противоположности тела, а в куда более правдоподобном качестве не слишком духовного – преувеличения здесь никому не нужны – но уж конечно и не сугубо материального – приземленность мышления тоже никому еще не помогла – образа: какого образа?

Учитывая земной ландшафт, принимая во внимание соотношение земли и воды на нашей планете, не переставая удивляться также невероятным красотам и пугающей загадочности океанских глубин – которые вопреки всякой логике и вопреки здравому человеческому рассудку исследованы в гораздо меньшей степени, чем космос (тогда как океан для нас бесконечно важнее, чем космос) – а главное, прислушиваясь к сообщениям о живущих в бездонных водах многообразных фантастических существах, превышающих наше воображение, – итак, подытожив все вышесказанное, единственно идентичный образ души напращивается сам собой.

II. – Как, нырнув под какую-нибудь скалу и увидев там притаившегося спрута или водяную змею, мы, возвратившись на берег, невольно видим и бухту и небо и деревья и солнце и весь божий мир в каком-то новом и более остром, ярком и волнующем свете, – потому что подводные чудовища, являясь им полной противоположностью, в то же время, желая того или не желая, неизбежно продемонстрировали кровное единство всего на земле, в духе Маугли, повторявшего всем зверям: «Мы с вами одной крови, вы и я», – в том числе и тайную, пуповинную связь идиллически-прекрасной бухты, неба, деревьев и солнца со спрутом и водяной змеей, – так, внимательно всматриваясь вглубь собственной души, вплоть до тех ее дальних пределов, где самые страшные поступки из мрака полной невозможности подступают к полусвету возможного и готовы вот-вот шагнуть в область вполне вероятного и даже реального – при условии всего лишь крошечного изменения во внешних обстоятельствах или собственном характере, – мы естественно и закономерно обнаруживаем в своей душе, наряду с привычными идиллическими пейзажами, притаившихся за их красотою чудовищ.

III. – И вот тогда, оглядываясь на людей, которых мы считали до того безукоризненно чистыми и светлыми, то есть похожими на бухту и чудный пейзаж вокруг нее, мы делаемся вдруг смущены, и во взгляде нашем на этих неповинных ни в чем людей появляются оторопь и смущение, – и тогда опять, в который раз, свершается предвечное грехопадение, – то есть

мы начинаем смотреть на ближних наших, изыскивая в них притаившихся в глубине спрутов и змей; и если мы их даже не нашли – а так, как правило, и происходит – мы никогда уже не забудем самой возможности их существования в душе любого без исключения человека, и в этом, собственно, нет ничего дурного, напротив, если и есть реальная возможность возлюбить ближнего, то только благодаря существованию чудовищ и в нас и в нем одновременно: просто эти чудовища должны как-то гармонизировать между собой, но ведь гармония и есть душа искусства.

IV. – Стало быть, любовь суть тоже в первую очередь искусство, что и требовалось доказать.

Без вины виноватые

I. (Приглашение на казнь). – Если мы действительно любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим их за то зло, которое им причиняем, то все-таки нельзя не отметить, что, даже причиняя им зло, мы испытываем раскаяние, хотя при этом не отрекаемся от содеянного: и потому, сделав им зло и преисполнившись чувством вины, которое, впрочем, никогда не идет так далеко, чтобы вычеркнуть содеянный поступок из списка бытия, наше сочувствие к страдающему от нас человеку напоминает мучительное, но бессильное и бесполезное сострадание того высунувшегося из окна верхнего этажа дома, примыкавшего к каменоломне, и невольного свидетеля казни К., который для пущего театрального правдоподобия не только порывисто наклонился далеко вперед, но еще и протянул руки вдаль.

Кто это был? – спрашивает Кафка. – Друг? просто добрый человек? – нет, это был скорее хрестоматийный Кай, то есть каждый из нас.

Кафка не описывает взгляд того страдающего человека, но любой из нас, вспомнив себя в вышеописанной классической ситуации причинения зла ближнему при одновременных укорах совести и без какого-либо раскаяния, дорисует этот взгляд в своем воображении, – потому что он слишком часто наблюдал его в зеркале.

II. (Двойная ошибка). – Даже самые наши близкие родственники и друзья, то есть люди, которых мы единственно в состоянии тепло и искренне любить, иной раз переступают заветную невидимую черту, – то есть совершают поступок или начинают вести образ жизни, которые с нашими, а может быть даже и с общечеловеческими понятиями о Добре, Красоте и Правде несовместимы.

Мы в таких случаях от них не отрекаемся, но и не скрываем своего полного с ними несогласия и, если они упорствуют, в нашем отношении к ним, хотим мы того или не хотим, начинают сквозить холодность и отчуждение: положим, это всего лишь своего рода маски, скрывающие наше сочувствующее лицо и добрые участливые глаза, но наши «провинившиеся» родственники и друзья, видя вместо привычного лица холодную маску, растеряны и шокированы, они пытливо заглядывают нам в глаза, пытаясь увидеть, что под маской, – однако под нею обычно другая маска, пусть менее холодная и более приветливая, но это все еще маска, потому что мы твердо решили не открывать лица до тех пор, пока наши подопечные не вернутся на путь истинный.

Процесс воспитания может продолжаться сколь угодно долго, но беда в том, что когда мы поймем, что на верном пути были все-таки они, а не мы, будет уже поздно: та самая холодно-отчужденная маска, которую мы так долго носили на лице, станет уже отчасти нашим собственным лицом и в особенности пострадают наши глаза: тот молчаливый упрек и уверенность в собственной правоте, которые так неприлично доминировали в нашем взгляде, теперь навсегда будут отражаться в зеркале и скрываться от них нам будет уже некуда.

III. (Ложная эстетика покаяния). – Поскольку характер и внешние обстоятельства связаны самым тонким, но и самым глубоким, то есть музыкальным образом, постольку и любые поступки людей, в том числе даже вопиющие к небу, в известном смысле необратимы, они в полном смысле слова судьбоносны, а стало быть и раскаянию – этой мнимой панацее от любых нравственных заболеваний – места в космосе нет, точнее, раскаяние есть воображаемый и по жанру религиозно-поэтический феномен: раскаяться означает по сути отказаться либо от частицы своего прошлого, либо от частицы собственной души, но ни то, ни другое невозможно.

Так всякий, кто более-менее знаком с современными немцами, знает, что в глубине души они в грехах Второй Мировой войны нисколько не раскаялись – и не потому, что они хуже других наций, а потому, что требовать от них искреннего и глубокого раскаяния все равно что ждать, чтобы они прыгнули выше головы, они просто не понимают, чего от них хотят, – и они правы: ведь что происходит в процессе покаяния? когда мы в чем-то каемся, мы на словах отмежевываемся от предмета, а по сути только тоньше к нему привязываемся, потому что преступление и покаяние неотделимы друг от друга, как ночь и день, и чтобы испытать это очищающее душу блаженство покаяния, нужно прежде обязательно совершить преступление, а чтобы снова испытать это блаженство, надобно опять совершить преступление, хотя бы мысленно, и даже не совершая нового преступления, можно каяться, например, о том, что прежнее покаяние не достигло цели и, почитая неспособность к истинному покаянию своего рода субтильным душевным преступлением, каяться о нем снова и снова, разворачивая дальше, точно гигантскую ядовитую змею, всю эту магическую цепь греха и покаяния, – вот почему буддисты категорически отвергают душевную пользу покаяния и особенно перед смертью: ведь именно в последние часы жизни судьбоносная или попросту сюжетная (что одно и то же) связь греха и покаяния может обнаружить настолько неодолимую власть над ослабевшей от предсмертных страданий душой, что навяжет ей (элементарной силой искусства) неблагоприятные кармические последствия, то есть все тот же сюжет преступления и покаяния, но в ином художественном (жизненном) варианте.

Действительно, как часто бывает, что конфликтующие стороны, сами того не желая, «подливают масло в огонь»: совершив столь же прекрасный, сколь и бесполезный ритуал покаяния, они остаются убеждены, что вот теперь уже точно подготовлена почва для дальнейшего сближения, и препятствия на пути к тесному и сердечному общению – ведь как прекрасно обняться со своим смертельным врагом! – раз и навсегда раскаянием, а также сопутствующим ему «содействием свыше» устранены: люди идут навстречу друг другу, а сами в глубине души с ужасом чувствуют, что свернувшаяся в сердце змея взаимной неприязни не только не убита, но в тишине начинает спокойно расправлять кольца, и, уязвленные ее ядом, разочарованные в себе и в противнике (ведь ни раскаяние, ни божественная любовь не произвели на тех и других никакого действия), они с утроенной ненавистью и к противнику и к себе самому – что немаловажно! – бросаются в пожирающий огонь конфликта.

А что, собственно, произошло? просто эти люди пренебрегли своим космическим сюжетом: ибо как одним планетам надлежит вращаться вокруг других на порядочных расстояниях, так что они практически и знать друг о друге не знают, так иным людям и иным нациям надлежит сохранять великую дистанцию, ибо она, дистанция – космический закон, а не любовь, о которой нам протрубили все уши, – итак, несоблюдение дистанции напрямую ведет к коллапсу, а невозможность любви вызывает тайное чувство вины, в свою очередь подталкивающее нас в объятия еще более разрушительного механизма покаяния.

IV. (Якорь мира сего). – Чувство вины, если оно слишком сильно, ведет к желанию устранить с лица земли как того, кто является его источником, так и в конечном счете себя

самого, то есть без всяких сомнений это один из самых страшных механизмов разрушения и саморазрушения, но если чувство вины присутствует в слабой степени, оно может парадоксальным образом даже сближать людей: причиняя человеку некоторую боль или обиду, мы затаиваемся благородным желанием возместить их и компенсировать, принуждая себя тем самым сделать шаг, на который без предварительного создания состояния неравновесия путем чувства вины у нас быть может не хватило бы энергии, однако вся беда в том, что невероятная динамика, скрытая в комплексе вины, обладая тенденцией роста в геометрической пропорции, не имеет той первобытной чистоты, без которой межчеловеческие отношения остаются глубоко проблематическими по сути: но ведь это-то больше всего и нужно людям, если присмотреться! чувство вины, таким образом, можно уподобить и наркотику, дозу которого приходится постоянно увеличивать, иначе не почувствуешь эффекта, и хронической болезни, которая постепенно перерастает в смертельную, и пробоине в днище судна, которая пропускает все больше воды, пока корабль не потонет... и тем не менее, при всем смертельном драматизме, заложенном, можно сказать, на генетическом уровне чувства вины и греха, человек, то есть обыкновенный человек, каких девяносто девять процентов, не может жить без вины и греха, он предпочитает их любой внутренней чистоте, и он тянется к ним как библейский Адам к гранатовому яблоку, потому что чувствует всем нутром своим, что без вины и греха нет любезной его сердцу жизни земной, без вины и греха начнут произвольно и необратимо очищаться его мысли и чувства, без вины и греха с ним случится... вот именно, что? да то, что в один прекрасный момент все существо его может сделаться настолько легким и светоносным, что он как воздушный шар воспарит от земли в иные и горние сферы, а вот этого он боится больше всего на свете! и потому – да здравствует чувство вины! да здравствует первородный грех! и да здравствует бог, который втайне предпочитает грешника праведнику!

И. (Загадочное испытание). – Причиняя ближнему незаслуженную боль, мы проникаемся чувством глубочайшей вины к нему, и хотя, как верно подмечено, мы никогда не простим ему этой нашей вины перед ним, все-таки раз вошедшие в мир боль и вина за нее никогда уже мир не покинут: в них вечная гарантия того, что мы и ближний наш отныне до скончания века будем привязаны друг к другу кармическими цепями крепче галерных, – но как и почему такое произошло? да очень просто: ведь наверняка были в том нашем ближнем черточки, из-за которых мы хотели от него удалиться, но были в то же время и другие черточки, те самые нам бесконечно дорогие и родные, из-за которых нам хотелось с ним остаться, – и вот, не в силах отделить зерна от плевел и не желая в то же время их совместной выпечки, мы прибегли к этой крайней и по сути преступной мере: мы соединили себя с ним навсегда посредством причинения ему нестерпимой боли.

Это невероятно, но мне почему-то кажется, что именно такова тайная причина того самого чудовищного и непонятного людям испытания Богом Авраама, о котором мы читаем в двадцать второй Главе первой Книги Моисея: в самом деле, может ли Исаак простить отцу, что тот без малейших сомнений готов был заклать его как жертвенное животное? может ли такое простить отец самому себе? и могут ли они оба подобное невероятное жертвоприношение простить Тому, Кто его организовал? но прощение или непростение со временем уходят, а кровная связь между теми, кто причинил боль, и теми, кто ее принял, остается на вечные времена, и она, эта связь, быть может, крепче и выше самой любви.

Подражание Ницше (раннее)

как сходны они без одежды!
поистине, нет в них и тени того,
что наши сулили надежды.

Пусть первым дано (махаонами став)
расправить гигантские крылья —
не скроют они, что их тела состав
весь соткан из снов и... бессилья.

Одних только мелких страстей и обид
не счесть, как не счесть унижений —
накинули хоть бы насмешливый вид
во время кумиротслужений.

Вторые же... те прокляты век на весах
отмеривать скорбь и страдания,
безумно надеясь за них в небесах
хоть йоту купить воздаянья.

Но будет оплакать и им суждено
ту правду в слезах изобильных,
что бог отвернулся от слабых давно,
как он отвернулся от сильных.

И наше участие от них утая,
проститься мы с ними готовы:
осмотр наш окончен, оденьтесь, друзья, —
чтоб мы полюбили вас снова.

Золотое равновесие доверия. — Если действительно безоговорочное доверие к чужому и постороннему человеку, как заметил Мишель Монтень, является верным признаком истинной (потому что отчасти детской) любви к Богу — тогда как, наоборот, посещение церкви, соблюдение постов, произнесение молитв и прочие аналогичные поступки так называемых религиозных людей следует назвать скорее ложными признаками — то тут необходимо обратить внимание на сопутствующие детали: в них и только в них — да и могло ли быть иначе? — заключается вся суть дела!

Ведь как часто один человек, доверяя другому, все-таки в глубине души догадывается, что тот в конце концов не оправдает его доверия, и обычно так именно и происходит, и можно было бы, конечно, предположить, что, поскольку второй догадывается, что ему все равно не вполне доверяют, он и не лезет из кожи вон, действуя по принципу: ты думаешь, что я плохой? ну так я и буду плохим! однако проще и легче объяснить происходящее элементарной раскладкой характеров: каждый преследует только свои интересы, и так всегда было, есть и будет.

И потому, чтобы на сцену вышел чрезвычайно редкий (поскольку довольно независимый от уз повседневности) и любопытный персонаж Человеческой Комедии под названием Доверие, должны быть соблюдены кое-какие театральные — и они же сугубо жизненные — условия: во-первых, нужно, чтобы первое действующее лицо — то, которое доверяет — обладало добродушным и щедрым нравом и не слишком стремилось копаться в чужой душе, во-вторых, необходимо, чтобы второе действующее лицо — то, которому доверяют — не

терпело большой материальной нужды и в особенности не имело нуждающихся родственников, ради которых правым и неправым образом будут отпускаться средства из золотого фонда Доверия, в-третьих же и самое главное, оба главных персонажа, сопряженных святыми узами Доверия, не должны быть по-человечески слишком связанными или, наоборот, чересчур отдаленными, потому что в обоих случаях Бог, таинственно ими занятый, будет снова оттеснен на задний план сугубо человеческими (положительными или отрицательными) эмоциями.

Зимний ландшафт с уткой, лебедем и городскими жителями. – Когда в середине февраля в погожий солнечный денек после полудня вы прогуливаетесь по какому-нибудь мюнхенскому городскому парку с обязательным озерцом и идиллическим домиком на островке посередине, а вокруг пахнет уже весной, но еще зима, когда вы замечаете замороженные в тонкую пленку льда ветки и куски мусора и на полном серьезе радуетесь своему наблюдательному дару, когда вы, далее, заглядываетесь на плавно выгибающиеся в темной оттаявшей воде у самых берегов отражения деревьев и резвящихся подле них уток (одна из них все старается встать на ледяную полосу, по несколько раз вскарабкиваясь на ледок, уродливыми лапками шлепая туда-суда, серебристая пленка неизменно подламывается под ней, и утка, точно капитан на мостике тонущего корабля, с достоинством идет вниз, но снова и снова, точно только для того чтобы поразвлечь зрителей, повторяет свой опыт), и когда вы, наконец, заканчиваете ваше праздное наблюдение созерцанием неподалеку плавающего одинокого лебедя, который достает отяжелевшие, затонувшие наполовину куски хлеба, время от времени с характерной пристальной недоброжелательностью всматриваясь в стоящих на берегу людей, точно ожидая от них более вкусной пищи, а те благосклонно переглядываются и обмениваются ничего не значащими замечаниями, – тогда... но тогда вы просто не сможете не припомнить не однажды виденные вами в европейских музеях старые голландские пейзажи с простолюдинами вокруг замерзших водоемов.

«Насколько же ничего не изменилось на земле!» – невольно подумаете вы, – и как же все поминутно меняется!» – придет в голову следующая мысль: ведь между теми приплюснутыми, бесшабашными и слегка придурковатыми жителями тогдашней Голландии – неужели они на самом деле были такими? – и нынешними прилично-разношерстными обитателями земли немецкой казалось бы нет ничего общего! казалось бы... а на самом деле общность есть, но она настолько субтильная, что на нее не сразу даже обратишь внимание, и тем не менее только она и она одна, как та знаменитая бесконечно малая величина в математике, способна удовлетворительно решить уравнение человеческой жизни, которое, помимо сложных и недоступных обычному человеку конечных результатов, пытающихся определить, например, связь отдельной жизни с предшествующими и последующими жизнями, а также с другими бытийственными измерениями, говорит нам всегда одно и то же, а именно: то, что людей сближает, все-таки самих людей характеризует больше, чем то, что их разделяет.

Почему Шерлок Холмс нам все-таки бесконечно дороже Гамлета. – Сама жизнь испокон веков показывает нам, что человеческая природа, во-первых, преступна по определению, во-вторых, убийство ближнего есть краеугольный камень человеческой преступности, в-третьих, мотивы убийства настолько многообразны и пустяковы, что даже не верится подчас, что они могли послужить причиной убийства, но в то же время, как мы помним, главный смертный грех укоренен в душе на тех же правах, что и смерть в теле, а это значит, что самые чудовищные преступления скрываются под самыми обыкновенными оболочками и вытекают из самых обыкновенных обстоятельств, и никакой психологический анализ не в состоянии удовлетворительно объяснить это странное и по сути глубоко загадочное соеди-

нение «самого чудовищного и самого обыкновенного», – так что даже призрак убиенного, которому открылись иные тайны, скрытые пока для простых смертных, явись он перед нами и попытайся объяснить, кто и зачем его убил, не сможет этого сделать.

А если так, то не лучше ли раз и навсегда прекратить поиски «вещи в себе» и обратиться к явлению? эту задачу и выполняет великий сыщик, причем с гораздо большей убедительностью и правдоподобием, чем великий знаток человеческой души, писавший под именем Шекспира: самое же главное, в одном случае мы имеем художественный мир, в котором нет ни единой детали, которую мы не могли бы поближе рассмотреть и пощупать, иными словами, мы в этом мире в самом буквальном значении слова как у себя дома, тогда как в другом художественном мире все нам бесконечно чуждо, и мы в нем – как гости, которые, заплатив входной читательский билет за право приобщиться к «шекспировскому гению», должны рано или поздно покинуть спектакль.

А вот мир Шерлока Холмса покидать не нужно, он как родная квартира, как наша улица, в конце концов как те же розановские «штаны» («Литература это мои штаны»), что валяются на стуле, одел – и пошел: да, пожалуй, нет в мировой литературе более уютного пространства, чем квартира на Бейкер-стрит за несуществующим номером 221 В, шире – чем туманный Лондон, в котором вечный Каин убивает своего вечного брата Авеля, еще шире – чем вся добрая старая Англия, где убийство как одно из центральных проявлений бытия человеческого с легкой руки Шекспира стало основной литературной темой, и где спустя пару столетий с легкой руки Артура Конан-Дойля убийство как драгоценнейший бриллиант человеческого развлечения было облечено в достойную камня оправу общественно-космического уюта.

Итак, убийство по духу и букве своей столь же уютно, как сидение со стаканом виски перед вечерним камином: но ведь это и есть центральная перспектива взгляда на преступление в нашем цивилизованном обществе, и создатель Шерлока-Холмса здесь ничего не выдумал, – и как уютно прозябает преступный замысел в глубинах души человеческой, пока не настал его час выйти оттуда, так точно не менее уютно все его совершение и раскрытие (или нераскрытие), потому что соотношение преступного замысла с прочими тесно окружающими его душевными компонентами точно такое же, как реальное соотношение преступника с окружающими его обитателями города и мира: иными словами, они неотделимы друг от друга, и туманный Лондон так же трудно представить помимо скрытых в его недрах преступников, как человеческую душу без преступных инстинктов, – ну, а то чисто читательское удовольствие, которое мы получаем от чтения «Шерлока Холмса», и которое в разы превосходит удовольствие от чтения «Гамлета», – оно просто подтверждает на эстетическом уровне подмеченную и описанную выше общечеловеческую психическую закономерность.

Запоздалая рецензия. – Когда литературный роман описывает главу преступного клана, перенимающего серьезную и почти отцовскую ответственность за всех своих членов, так что каждый из них, при условии лояльности, может быть абсолютно спокоен за свое будущее и будущее своей семьи, и решительно ничто не может угрожать его жизни или благополучию, кроме, разве, гибели самого протеже, далее, когда каждый из членов клана по возможности занимается тем, что ему больше всего лежит и не лезет туда, где он только все напортит – то есть хотя бы на довольно малом участке жизни имеет место довольно большая гармония – когда, помимо этого, любой член клана может получить от главы его в разумных пределах услугу, которую ему даже приблизительно не окажет никакой другой человек и никакая другая организация, а взамен он тоже, конечно, должен будет оказать услугу, которую от него когда-нибудь потребует заимодавец, но эта услуга такого рода – и здесь вся пуанта – что оказать ее не только возможно, но и приятно, когда, переходя к драматическим пружинам, иные члены клана, не получив у себя дома того места, на которое рассчитывали

– но это потому, что, как безошибочно определил глава клана, им от природы не дано было занимать данную должность – переходят скрыто к врагу, и пощады им отныне быть не может, потому что они сами себе своего предательства никогда не простят, когда, продолжая, все абсолютно мысли, чувства, намерения и поступки близких и дальних людей главой клана по возможности ловятся, учитываются и обязательно вознаграждаются или караются, – так что и полет воробья над его головой не проходит бесследно, но имеет какие-то невидимые, однако далеко идущие и поистине кармические последствия, – когда простые люди обращаются к главе клана за помощью, и в этой помощи, как и в самом обращении можно увидеть как дьявольские, так и божественные черты, причем в одинаковой мере и одинаково глубоких измерениях, так что лучший друг юности главы клана, заболев раком, всерьез попросил того замолвить за него словечко перед Богом, – и это звучит вполне правдоподобно и убедительно, и когда, наконец, будучи тяжело ранен и потеряв старшего сына, глава клана оказался на грани крушения дела своей жизни, но его спас младший сын, однако какой ценой? ценой отторжения по причине демонической мстительности и невозможности прощать всех тех людей, кого умел от природы и щедро привлекать отец, так что сама художественная конфигурация отца и сына ничем не уступит паре Болконских, – да, вот тогда самое время обратить внимание на рождение без каких бы то ни было преувеличений гениальнейшего произведения искусства, которое, несмотря на мафиозную тематику, достигает и композиционно, и психологически уровня самых великих романов, а поскольку без внимания этот роман не остался и даже приобрел колоссальную популярность, остается только сказать, что он все равно остался недооцененным, – в том смысле, что его никогда не поставят в один ряд с романами самыми великими и классическими, – и напрасно.

Вопрос ребром. – Не кажется ли вам, что роман как жанр окончательно исчерпал себя – и не потому даже, что в наше время практически не пишутся выдающиеся романы (которые всегда в единственном числе), зато пишутся романы, мягко говоря, не вполне выдающиеся (имя которым легион), а потому, что слишком очевидной стала сама условная природа романа как жанра? и дело тут в том, что правда о любом человеке таится во времени как душа в теле, – так что чем больше временные промежутки, тем существенней в них раскрывается человек, а вот это-то для любого романа все равно что смерть: заряженное умной игрой художественное деяние, в чем бы оно ни заключалось, нуждается в сравнительно коротких промежутках времени (так называемое классическое единство времени, места и действия), – и никогда никакой герой романа не может фигурировать в пределах игрового пространства, разделенного годами, а то и десятилетиями, то есть получается, что самое важное и интересное в художественной литературе всегда происходит в течение довольно ограниченного времени, иначе теряется напряжение повествования, без напряжения нет связующей музыки, а без музыки нет вообще ничего.

Но ведь узнавать, как человек, а заодно и его ближайшее окружение меняются на протяжении десятилетий, есть без преувеличений самый интересный опыт, доступный человеку, однако этот опыт, как уже сказано, с жанром романа несовместим, и потому приходится выбирать: либо живую и неподдельную правду о человеке, либо умную и талантливую (в лучшем случае) выдумку о нем, – так что же нам выбирать?

Как говорится «просто ни к чему». – После долгих и трудных поисков отыскав, наконец, «единое на потребу», невольно начинаешь относиться ко всему прочему как к чему-то такому, «что по большому счету ни к чему», – и просто поразительно, с какой филигранной точностью это странное и несуразное определение «ни к чему» описывает суть проблемы: ведь речь здесь идет ни о чем другом как сознательном отказе от вспаханных поначалу ищущим духом и почти уже вывернутых им наизнанку целых пластов культуры, – боже, какие

там отыскиались богатства! как они смогли бы обогатить эрудицию! но что такое эрудиция как не ударный кулак культивированного тщеславия? а человек по природе своей ищет все-таки пищи для души, и пища эта в конце концов столь же проста, сколь и изысканна: она состоит всего лишь из хлеба, воды да божественной амброзии, причем у каждого свой хлеб, своя вода и своя амброзия, – и вот вкусив их однажды в том самом, вами одними для себя найденном и для вас одних предназначенном сочетании, вы уже не сможете есть другую духовную пищу, а потому рано или поздно на вопрос какого-нибудь очень доброжелательного и очень культурного человека: «Разве вы не читали такого-то и такого-то автора?», вы просто с улыбкой пожмете плечами, и на его естественный и неизбежный упрек: «Но ведь его нельзя не читать», вы произнесете ту самую золотую формулу: «Да, но мне это ни к чему»: поверьте, это и будет последним и решающим доказательством того, что «единое на потребу» вами, наконец, найдено, и ничего уже больше, к счастью, искать не нужно.

Добрый старый слуга. – Наши основные (то есть врожденные и практически неустрашимые никем и ничем) страхи подобны нашим же старым и верным слугам, которые, служа нам верой и правдой, оберегают нас не только от опасностей мира сего, но и от дверей в Неизвестное, а между тем только смело и опрометчиво открыв одну из них, можно войти в новый для себя мир, тогда как другого входа туда, к сожалению, нет, – итак, наши слуги-страхи, будучи к нам приставлены от рождения, зная нас как облупленных, догадываясь своей безошибочной интуицией, что есть все же на этом свете двери, точно созданные для того, чтобы мы через них вошли, тем не менее на всякий случай и по привычке устраивают неприличную потасовку с нами всегда и без исключения, когда судьба сталкивает нас лоб в лоб с подобной дверью: и разыгрывается в тот момент одна и та же, наполовину комическая, наполовину трагическая сцена, когда мы и наш конкретный персональный страх, схватив друг друга за грудки, пытая и злобствуя, катаемся молча по полу, но в конце концов, как и полагается, мы берем верх, поднимаемся, перешагиваем через побежденный страх, открываем заветную дверь – там, свет, воздух и новая жизнь! – делаем шаг в только что завоеванное с таким трудом жизненное пространство, глубоко забираем в легкие опьяняющий тонкий эфир, а потом с некоторым виноватым упреком оборачиваемся к нашему незадачливому слуге, как раз поднимающемуся с пола: «Мол, что же ты нас удерживал?», однако тот чертыхаясь и отплеываясь демонстративно смотрит в сторону: догадываемся ли мы, что делает он это, как и подобает образцовому старому слуге, единственно из благородного побуждения – чтобы мы сами не догадались, что он боролся с нами только для вида?

Первый друг детства. – Любая гармония рождается из хаоса, это знали уже древние эллины, но задача состоит в том, чтобы прочувствовать эту великую истину на собственном опыте: я убежден, что наша российская провинциальная жизнь является одним из великолепных образчиков первородного хаоса, – так есть ли там гармония, и если есть, как она возникает?

Кажется, когда я учился в третьем классе, учительница по литературе попросила меня остаться после уроков и наедине сообщила мне, что некий мой одноклассник очень хотел бы со мной дружить, но не решается сделать первый шаг, – так не пошел бы я ему навстречу? тот мальчик плохо учился, отличался уединенным нравом, но был мне скорее симпатичен, чем наоборот, и вот я согласился, и он начал заходить ко мне домой, мы все что-то строили, кажется, какие-то кораблики, заодно я, конечно, помогал ему в учебе, – но однажды, катаясь вечером на коньках, он нашел какую-то интересную палку, которая неизвестно чем мне приглянулась, и я очень захотел ее иметь, я стал просить моего нового друга уступить мне ее, но, наверное, просьбы мои имели слишком требовательный характер, во всяком случае он наотрез отказался мне ее давать, и я в запальчивости заявил, что он об этом пожалеет, а

он в ответ лишь пожал плечами: я покати́л от него прочь и весь вечер не подходил к нему, но каково же было мое удивление, когда на следующий день в классе мы даже не взглянули друг на друга, точно он стал невидимым для меня, а я для него, – и так прошла неделя, месяц, год и все последующие годы – пока мы не расстались навсегда: много бы я дал, чтобы понять, что же это за страшная невидимая сила вдруг, воспользовавшись самым пустяковым поводом, встала между нами, сопливыми мальчишками, и не позволила не только объясниться, извиниться, встряхнуться и посмеяться над случившимся казусом, как это потребовал бы от нас любой взрослый, узнай он о происшедшем, но, вызвав в нем по-видимому чудовищную и нечеловеческую гордость, а во мне столь же чудовищный и нечеловеческий тихий гнев, продемонстрировала в который раз, что чувства, из которых лепились и лепятся иные любопытные, пусть извращенные персонажи мировой литературы, не умерли, но продолжают существовать в хаотически-разбросанном состоянии повсюду и всегда, даже в российской провинции конца шестидесятых прошлого века, поводом же или сюжетной завязкой к их появлению послужила просьба нашей учительницы – она руководствовалась при этом наилучшими побуждениями – искусственным путем создать отношение, которое никак не могло бы возникнуть естественным образом.

Вот и получается, что гармонии, рождающейся из хаоса, в точности соответствует происхождение художественного бытия из недр сырой и черновиковой жизни.

Неисповедимые пути самого близкого родства

1. (Оглядываясь назад из будущего). – У какого-нибудь метрополитенового киоска, в субботу: стайка молодых парней и тут же пара девочек, все в облегающих джинсах с разрезами на коленках и свитерах, доходящих до бедер, девочки с прекрасно контролируемым восхищением слушают статного парня в черной мотоциклетной куртке и модных остроносых ботинках на скошенных каблуках, парень о чем-то с интересом рассказывает, и его по-мужски невозмутимое спокойствие никак не затрагивается полувлюбленными девическими взглядами и смехом, – он весь в рассказе.

И вот, проходя мимо него, я как-то очень внимательно посмотрел на него, а он, прервав рассказ, тоже против воли задержался на мне взглядом: он не мог знать, что причиной моего долгого взгляда была странная конфигурация в моем роду, которую, если бы она имела место в семье знаменитого человека, наверняка назвали бы либо трагедией, либо мистерией, либо проклятием.

Дело в том, что где-то к тринадцати моим годам мой отец и я вдруг почувствовали взаимное полное расхождение и, не сказав друг другу ни слова, тихо и мирно разошлись, как расходятся на улице малознакомые люди, столкнувшись и поговорив ради приличия пару минут, – и что интересно: никогда с тех пор ни он во мне внутренне не нуждался, ни я в нем, – так что о комплексе «недостающего отцовства» с моей стороны и речи быть не могло.

И ладно бы одно только это, но история почти полностью повторилась с моим собственным сыном: с той лишь разницей, что мосты в наших отношениях не были никогда до конца сожжены и родственное тепло сохранилось, однако тот факт, что, встречаясь иногда раз в месяц или два – и живя по соседству – мы ощущали такую же душевную комфортность, как будто расстались только вчера, говорит о многом.

О чем же? прежде всего о том, что родственные отношения зиждутся на тех же самых законах, что и супружеские: законах гармонии и тайного соответствия, но супруги могут разойтись, а родственники – нет, хотя мне с моим отцом это удалось, быть может, благодаря моей эмиграции, – однако желаю ли я аналогичного развода с моим сыном? ни в коем случае, хотя очень страдаю от невозможности дальнейшего сближения; больше же всего меня смущает то обстоятельство, что не однажды я встречал в жизни мальчиков и парней, ровесников

моего сына, которые тянулись ко мне сильнее, чем мой сын, и инстинктивная симпатия к которым тоже местами осиливала мое отцовское чувство.

Вот в этом состоянии душевной размягченности и раздвоенности, как мне кажется, я и засмотрелся на того парня в мотоциклетной куртке и остроносых ботинках, а он, точно прочитав мои мысли, забыл на время о своем рассказе: впрочем, что я говорю? тогда еще мой сын не родился, ну и что из этого? как будто это что-то могло изменить.

II. (Дилемма). – В самом деле, чтобы до такой степени отец был равнодушен к сыну, а сын к отцу, и оба не только не страдали от взаимного отчуждения, но принимали его как подарок судьбы (в том смысле, что им просто очень хорошо было друг без друга, и совсем не так хорошо, когда они были вынуждены по тем или иным причинам встречаться), так что они даже избегали плохо говорить друг о друге (что неизбежно повело бы к разного рода недоразумениям, в которые под давлением людского окружения пришлось бы волей-неволей вносить ясность, для чего опять-таки им нужно было бы интенсивней заниматься друг другом), а при немногочисленных встречах их разговор начинал изобиловать дипломатическими нюансами (во-первых, потому, что не было практически ни единой темы, на которую у них были бы мало-мальски сходные взгляды, а во-вторых, потому что любой спор мог повести к обострению, которое тоже никому было не нужно), – итак, в подобную конфигурацию самых близких на земле людей я сам никогда бы не поверил, если бы не испытал ее на собственном двойном опыте: себя как сына и себя как отца, и весь вопрос только в том, как же все-таки следует вести себя в такой судьбоносной ситуации, – можно, например, отнестись к ней как к родовому проклятию со всеми вытекающими отсюда мрачными последствиями, но можно увидеть в ней и слишком явную улыбку какого-то неизвестного Устроителя всех наших дел, какое бы имя Ему ни дать, – самое же лучшее, как мне кажется, это верить в равноправное существование обоих моментов, и с молитвенным уважением чтить каждый из них.

III. (Пожизненно прикованные к галерам). – Когда мужчина и женщина пробуют организовать совместную жизнь, и их попытка не удается, в этом обычно не видят ничего удивительного, когда же против всякого ожидания обнаруживается – разумеется, после долгих-предолгих лет совместного принудительного существования – что и самые близкие родственники, такие, скажем, как отец и сын, абсолютно «не подходят друг другу»: в том смысле, что у них совершенно разные интересы, что они прекрасно могут уживаться друг без друга, что ни один из них не является настоящим авторитетом для другого, а тем более примером для подражания, что каждый втайне представляет себе иного «идеального» отца или сына, в чем они даже наедине с собой не готовы признаться, и что, как следствие, между ними не может быть ни откровенной (тайной или явной) вражды как последнего признака глубокой взаимной связи в ее обратном и трагическом варианте, ни полного обоюдного равнодушия как верного признака кармической – а значит и космической – непричастности, – итак, в подобных исключительных случаях мы имеем дело с редчайшим феноменом экзистенциальной игры на высочайшем бытийственном уровне: потому что, действительно, что может быть, с одной стороны, для человека первичней закона кровного родства? но с другой стороны, что может быть игривей его же собственного (закона) опровержения на примере родного отца или сына?

Психологическим эквивалентом вышеописанного феномена является, как правило, глубокое, как Маракотова бездна, и тонкое, как игла, ощущение взаимного и пожизненного недоумения по поводу своего самого близкого родственника: как же такое могло произойти? не сон ли это? и если сон, то как от него проснуться? а если не сон, то как с этим жить дальше?

И какой бы вывод ни был сделан, печать подобного недоумения невозможно ни понять, ни тем более стереть до конца: она будет сопровождать «ознаменованного» человека до скончания дней его, наравне с печатью первородного греха, но если последняя, как утверждают добрые языки, была все-таки вовремя вскрыта и упразднена Спасителем, то вот вторая уже, по-видимому, никем и ничем смыта быть не может.

И единственный выход из этой безысходной ситуации, быть может, состоит в том, чтобы раз и навсегда перестать, наконец, метаться в поисках выхода, а просто сесть и улыбнуться над собой: кто знает, не является ли такая улыбка единственным эликсиром против проклятия собственной закомплексованности? и не тень ли подобной улыбки играет на лице Будды в бесчисленных его скульптурных и живописных изображениях?

Причем, что интересно, никто из современников великого Реформатора эту загадочную улыбку на его лице не примечал, зато все люди искусства не сговариваясь начали ее производить.

Оставив тем самым вопрос навсегда открытым.

IV. (Все дороги ведут в Рим). – Когда я думаю о том, что моя мама не удосужилась ни разу за сорок лет навестить меня в Германии – если не ради сына, то хотя бы ради внука – когда я припоминаю, с какой неохотой она спрашивает по телефону о моей жене или теще (которые, между прочим, прекрасно к ней относятся) и в то же время всякий раз прибавляет: «Ну у тебя-то все хорошо в семье?», желая очевидно услышать в ответ: «Ну как тебе сказать – все бывает...», чтобы опять пригласить меня к себе в Саратов, меня одного... когда она подолгу и с ностальгической старческой заикливостью рассказывает об одном и том же: о былом и давным-давно распавшемся заветном треугольнике семьи, треугольнике, состоящем из отца, матери и сына, треугольнике, в котором, осмысливая его трезво и задним числом, не было по сути живого места, и когда я все-таки должен сказать, что она меня по-своему очень любила, чему тоже имеется множество подтверждений, (правда, любила – и отправляла меня против воли ежегодно в пионерские лагеря, любила – и все-таки отвела в милицию, когда я с приятелями снял с поезда несколько арбузов, любила – и с таким трудом дала согласие на выезд), – короче говоря, подводя все вышесказанное, как и полагается, к общему знаменателю, как тут не вспомнить о природе духов в буддийской интерпретации (в данном случае духе или ангеле родительской любви)?

Она (интерпретация) утверждает, что, несмотря на безграничные возможности в смысле преодоления времени и пространства, сфера воздействия любых духов принципиально ограничена, хотя и в разной степени, – отсюда и вытекает, что если у какого-нибудь отдельно взятого духа материнской любви слабые крылья, то он не может воспарить, как бы сам того ни хотел, и любые упреки здесь попросту неуместны: приняв на веру такую космическую конфигурацию, снисходительней начинаешь относиться и к своим ближайшим родственникам, и к людям, и к себе самому.

Если же, напротив, проникнуться ощущением вечной и неизменной природы человеческой души, а также прямо вытекающей отсюда полной ответственностью за каждый жизненный шаг, то тяжесть чувства вины, рождающаяся, например, из слабости любви, подобной вышеописанной, становится физически невыносимой.

И тогда невольно приходится смотреть на себя и на все вокруг себя тем самым предельно выразительным, но и предельно страшным взглядом, каким смотрят на зрителя наши православные иконы.

V. (Последняя схватка). – Как страшно разваливается тело под давлением возраста и болезней! и как трогательно сознание сопротивляется этому неумолимому природному процессу! ведь нет же и не может быть, кажется, в человеке ничего такого, что было бы

вполне независимо от клеток, тканей и органов, а это значит, что любое их недомогание тотчас передается душе и духу, что бы под ними ни понимать, – и поэтому когда человек мужественно сопротивляется болезням, старается отогнать от себя раздражение и депрессию, пытается оставаться оптимистичным и доброжелательным к людям и к жизни, мы его уважаем и перед ним преклоняемся.

Нам кажется, что кроме как силой воли и мужеством невозможно противостоять разрушению плоти, и что в этом самом противостоянии заключается вся суть и сила духа, – все это несомненно так и есть на самом деле, но остается все-таки на душе некий едва фиксируемый сознанием оттенок, как бы привкус тончайшего психического дискомфорта, и сие субтильное чувство, если как следует в него вдуматься, коренится в нашей врожденной вере, что между духовным и материальным не просунуть и волоса, а значит, само состояние тела еще прежде и красноречивей воплощает заключенный в нем дух.

Иными словами, здесь имеется в виду древняя истина: «В юности мы имеем лицо, подаренное нам возрастом, а в старости то, которое сами заслужили», то есть насколько благообразно мы состарились, как мало у нас появилось безобразных морщин и до какой степени черты лица сохранили одухотворенное выражение, – вот что самое важное и вот что является первым признаком духовности.

А если этого нет, если тело разрушилось так, что свет духовности едва тлеет в нем, как последний уголек в бесформенной куче дров, и выражается только в отчаянном и жалком крике: «Я, душа, все-таки существую, но не имею ничего общего с этим телом!», – то это, конечно, тоже духовность, но как бы уже второго порядка.

Поэтому когда моя мама, случайно проходя мимо зеркала, задерживается перед ним взглядом и видит там все еще благородные черты лица, видит осанку головы, напоминающую Марлона Брандо – а ведь в юности этого сходства не было и в помине – видит все еще живые и теплые карие глаза под высоким и почти безморщинистом лбом – хотя волос на голове почти не осталось – и все это, несмотря на девяностолетний возраст, несмотря на то, что от болей в суставах она не проспала в последние десять лет ни одной нормальной ночи, несмотря на то, что она шагу не может сделать без крика или стога, – итак, видя все это, она должно быть чувствует мгновенный и малый прилив некоей невольной гордости за несомненное и всеми замечаемое достоинство, которое сохранило ее тело в смертельной борьбе со старостью и болезнями, и которое поддерживает ее и дает силы жить дальше.

Но так ли это на самом деле, я точно не знаю, потому что никогда ее об этом не спрашивал.

VI. – (Во всем есть свой смысл). – Для каждого внутренне созревшего события существует его собственное и как бы для него одного предуготовленное время, как оно существует для всякого плода, так что любое «слишком рано» или «слишком поздно» чревато, как мы знаем по опыту, неизбежными и удручающими последствиями недо- или перзрелости.

И нигде, пожалуй, этот простейший из всех универсальных законов бытия не проявляется с такой очевидной ясностью, как в любви: действительно, одним из основополагающих смыслов жизни человеческой является обретение настоящей любви – об этом едва ли не девяносто девять процентов всех фильмов и романов – но каждый из нас слишком хорошо знает, как это не просто, а для иных людей и практически неосуществимо, и сколько попыток нужно предварительно сделать, прежде чем мы, подобно гетевскому Фаусту, сможем от души сказать: «Остановись, мгновение, ты – прекрасно», чтобы, умножив это счастливое мгновение на предложенные нам житейские ситуации, получить долгую и гармоническую семейную жизнь.

Но как универсальные космические законы перестают действовать в отношении феноменов, стоящих на более высоком бытийственном уровне, или, точнее, их действие услож-

няется специфическими факторами, характерными для данного уровня, так элементарная закономерность недозрелости или перезрелости плода, в зависимости от времени его срывания, может быть перенесена в сферу человеческой любви только с большими ограничениями.

Это надо понимать так, что никакие предварительные опыты по «женской линии» нельзя признать до конца лишь «неудачными попытками», но в каждом из них таится великий скрытый смысл, хотя и остающийся по воле обстоятельств в тени даже на протяжении всей жизни: смысл этот, в частности, заключается в том, что та женщина, с которой вы были в связи короткое время и браку или многолетнему отношению с которой не «покровительствовали боги», все-таки по-своему любила вас во время этого вашего недолгого совместного «предварительного опыта», все-таки надеялась на вас как на будущего супруга и отца или отчима ее нерожденных или уже рожденных детей, и все-таки примеривалась к вам с точки зрения «вечной любви», а вот последняя и заключительная ваша женщина, с которой вы и создали, наконец, союз, «благословенный на небесах», если бы вы ее встретили раньше и при других обстоятельствах, быть может, даже не взглянула бы на вас, — да так оно и было бы на самом деле!

Говорю по собственному опыту: шанс для меня, русского человека, в семидесятые годы прошлого века выехать за границу — а без этого я не мог уже жить! — не превышал шанс угадать в лото шесть правильных цифр, и то обстоятельство, что судьба смиростивилась надо мной и послала мне девушку, благодаря которой я осуществил мечту моей жизни, но каким путем? путем мефистофельской сделки «любовь за выезд», ибо мы никоим образом не были созданы друг для друга, и все-таки, будучи слабыми людьми, под давлением обстоятельств попытались из формального брака, который только и должен был быть между нами, создать брак настоящий, в который она долгое время верила, я же не верил никогда, — итак, это обстоятельство, несмотря на изначальную приговоренность нашей связи, я оцениваю высоко и в какой-то мере сохраняю пожизненную благодарность первой моей жене за то, что она полюбила меня «на заре нашей юности» и многим для меня пожертвовала, тогда как — и это я знаю точно — вторая моя жена, безукоризненное в любой мелочи и абсолютно счастливое отношение с которой началось четвертью века позже, в первой молодости меня бы никогда не полюбила, а может быть даже и не заметила, — вот что значит: всему свое время! но все-таки не совсем в том плане, в каком мы говорим о времени сбора урожая яблок.

VII. (*Amor fati*). — Моей любимой падчерице пошел уже тридцать второй год, она только что закончила вечернюю гимназию и давно уже одна, потому что вследствие какой-то причудливой игры природы ей суждено было на всю жизнь остаться в душе ребенком, — и никакие «мальчишки», никакая работа и никакое обтачивание годами не в состоянии изменить этого судьбоносного обстоятельства: какой-то внутренний механизм (который иначе как кармическим не назовешь) с неизменностью космического закона руководит всеми ее поступками, определяет основное ее душевное настроение и в конечном счете оформляет ее жизнь, отводя ее все дальше и дальше от основного предназначения взрослой женщины: создавать собственную семью, рожать и воспитывать детей, и подталкивая, наоборот, назад, к прежней и «забуксовавшей» навсегда дочерней роли, — любыми правдами и неправдами до последнего прилепляться к материнской семье, быть и жить там, видя свое главное жизненное предназначение в заботе о матери и ее втором муже, то есть обо мне, ее отчине — причем подобную заботу, нужно сказать, она способна была бы осуществлять поистине идеальным образом и до скончания дней наших — но жизнь оказалась безжалостна к ее невинной незрелости, и один из законов жизни, состоящий в том, что на Западе дети должны жить самостоятельно и по меньшей мере отдельно от родителей, проехался по ней как колесо телеги по муравью, — и вот совсем недавно, после операции, которая точно по иронии судьбы была

совершенно ненужной и как будто только для того и сделана, чтобы на месяц подарить ей искомый и драгоценный статус детскости, – итак, пожив у нас две недели, она опять отправилась в свою однокомнатную квартирку, что на расстоянии двух остановок метро от нашей, чтобы там заниматься непонятно чем, и было невыразимо грустно сопровождать ее туда, хотя и пребывание ее в нашей гостиной тоже отдавало сублимным тягостным чувством: все-таки и прекрасная ее светлая квартирка пустует, и вместе жить нам в одной квартире ни к чему и почти противоестественно, и образ вечной дочки, что никак не хочет становиться самостоятельной взрослой женщиной, точит сердце ее матери и моей жене, – короче говоря, у всех нас в разной степени осталось ощущение одновременного присутствия в душе двух равносильных и до щемящей остроты противоречивых чувств, а это, как в свое время показал Гамлет, больше всего на свете отнимает способность к действию, да и все наши совместные семейные деяния точно по странному совпадению остались в прошлом, – но что я хочу сказать? наверное, это так и должно быть, что люди рано или поздно перестают совершать поступки, которые могут серьезно изменить их жизнь, и либо ничего уже не делают, либо машинально отправляют однообразный обряд жизни: однако если даже тогда, в самый благоприятный момент, на пике трансформации жизни в бытие, не сумеешь увидеть в них увековеченных, как насекомые в золотой капле янтаря, пусть скромных, но вполне художественных персонажей собственных жизненных биографий, то уже больше и никогда не увидишь – но ведь это ужасно!

VIII. (Все течет, ничего не меняется). – Я не однажды обращал внимание на то, что когда я случайно встречался с моим сыном на улице, причем он первый видел меня, а я его нет, то он – это было видно по характерному застывшему на несколько мгновений размышляющему выражению в глазах – несколько медлил, прежде чем окликнуть меня, моя же падчерица при любых, в том числе и могущих обернуться для нее некоторым конфузом обстоятельствах, обращалась ко мне мгновенно, без какой-либо рефлексии и с самой сердечной улыбкой на лице: из этого я делаю вывод, что в ситуации иной и далеко не безобидной, более того, чреватой опасностью для здоровья и жизни, мой сын еще как следует подумал бы, рискнуть или не рискнуть ради отца и какими это грозит последствиями, тогда как моя падчерица пошла бы ради своего отчима на все, за исключением, пожалуй, готовности сразу и на месте отдать свою жизнь, – но кто же такое может требовать или ждать? еще и поэтому я так склонен верить в буддийски понятую карму: потому что, живи я среди древних римлян с приблизительно тем же характером, что и теперь – а это значит, что я должен был быть богатым и влиятельным человеком в те страшные и славные времена, иначе я просто не мог бы себе позволить иметь тот характер, который я имею – итак, моим полноправным наследником я сделал бы чужую дочь, но никак не родного сына, римские императоры, да и их приближенные так поступали на каждом шагу, – а ведь сколько бунтов, войн и просто заказных убийств произошло на этой почве! и тем не менее все случилось бы именно так, как здесь описано: но тогда ни одна даже самая малая йота безумных страстей человеческих не исчезла из этого мира, я это чувствую по себе! вот только радоваться или печалиться этому обстоятельству, я не знаю.

IX. (Самая большая удача в жизни). – Это, конечно, заполучить идеальную тещу, но что такое идеальная теща? та самая пожилая располневшая женщина, которая знает жизнь как свои пять пальцев и которая доказала это свое великое знание не какой-нибудь сомнительной эрудицией, а тем, что вырастила и воспитала одна двух дочерей, причем таких, что одной вы просто восхищаетесь со стороны, а на другой даже женились, и ни разу не пожалели о своем судьбоносном поступке, далее, на которую вы, быть может, в свое время даже не обратили бы внимание, как и она, впрочем, на вас, и которая, наконец и самое главное,

когда собираются вместе она, вы, ее дочь и ваша жена и ее внучка, а ваша падчерица, сидя в центре «семейного портрета в интерьере», то есть будучи одновременно и мамой, и бабушкой и тещей, все-таки непонятным образом гораздо больше напоминает тещу, нежели маму и бабушку.

А доказательством тому является ваш собственный опыт зятя, когда вы с приятным удивлением, еще не веря до конца свои глазам, замечаете, как о ваше взаимное друг о друге уважение, но еще больше об ее несокрушимое добродушие, точнее, почти слепой инстинкт видеть во всем сначала хорошее, а потом уже все остальное, как волны о скалу, разбиваются и ваши расхождения в религии (она принадлежит к старому поколению и потому насквозь православная, а вы как прогрессивный человек склонны к буддистам и йогам), и ваша разность в отношении к людям (она выросла в большой семье, ценит и любит общение, ваша же семья числом была минимальной, да и люди, просто как люди, по большей части действуют вам на нервы – имеете на то полное право!), и еще тысячи других и мелких несоответствий типа вашего упорного нежелания желать за столом «приятного аппетита» (или он есть или его нет), или говорить перед уходом ко сну «спокойной ночи» (в фильме «В джазе только девушки» подобное пожелание означало, что тот человек скоро заснет навечно), или при чихании произносить «будь здоров» (вместо того чтобы строго и неодобрительно посмотреть на чихающего: ведь сколько микробов он выбросил в окружающее пространство!) – короче говоря, вся эта ваша почти юмористическая и вместе довольно твердая демонстрация собственного и сугубо индивидуального стиля жизни при минимальной готовности пойти навстречу «старому человеку» представляет собой некоторое – и сознательное с вашей стороны – испытание для гордого и трогательно-старомодно-авторитетного характера тещи, испытание, которое, нужно сказать, она с честью выдерживает, и которое едва ли не более важно для вас самих: видя ее доброту и покладистость, вы и сами становитесь добрей и покладистей, – а не это ли в конечном счете самое главное в жизни?

В замкнутом круге вечного странничества.

I. (Всего лишь повседневные уроки неевклидовой геометрии). – Итак, все в мире движется в едином направлении, но бесконечная прямая, куда бы она ни отправлялась, рано или поздно замыкается на саму себя: таким образом описывается виртуальная окружность, которую мы никогда вполне физически не ощущаем, но помимо которой наш космос решительно не в состоянии вообразить.

В самом деле, и небесные тела и само мироздание в целом мы не можем помыслить иначе, как по образу и подобию шара, – тем самым вполне удовлетворительно решается знаменитая антиномия конечности – бесконечности Универсума: ведь сколько бы ни скользить – уже мыслью, но никак не космическим кораблем – по краю космоса, никогда не натолкнешься на какой-нибудь предел, но само скольжение Мысли или Духа будет совершаться по какой-то окружности, означающей предел нашего мышления и знания на данный момент: диаметр гигантского шара, в котором мироздание и мысль человека о нем слились воедино, будет, очевидно, непрестанно увеличиваться, но принцип вряд ли изменится.

Точно так же мы уезжаем, чтобы возвратиться домой, так Гете сказал насчет отпусков: перефразируя его мысль, можно заключить, что мы рождаемся, чтобы умереть, однако, строго говоря, мир, из которого вышел младенец, ничего общего не имеет с тем миром, куда по всей вероятности войдет старец, и если бы речь шла о чистом и последовательном возвращении к первоисточнику, то мы должны были бы, достигнув определенного возраста, возвращаться назад, как в известном романе Скотта Фицджеральда, то есть от старости в зрелость, оттуда в юность, дальше в детство, из детства в младенчество, и наконец в зародышевую клетку, а затем в чистое ничто.

Но мы все-таки уходим в старость и разве что, проделывая этот тысячу раз пройденный путь, обнаруживаем, что все, что мы осуществили в жизни, было не столько свободным творческим созиданием, сколько высвобождением того, что было заложено в нас с детства, как семя в растении, а это как раз и значит, что, уходя в старость, мы в каком-то очень глубоком и подспудном смысле возвращаемся в детство.

Да, мы знаем, что мы смертны, что наши испытания и страдания когда-нибудь раз и навсегда закончатся и что то тело, в котором накапливаются болезни и боли, которое обезображивается с годами и как бы невольно нас компрометирует, тоже когда-нибудь исчезнет с лица земли, – но одновременно и с той же самой искренней целеустремленностью мы замедляем нашу смертность, цепляемся до последнего за жизнь, предпочитаем любые болезни и боли их исчезновению, то есть смерти.

Находясь в смертельной опасности, мы приближаемся к самым ужасным мгновениям нашей жизни, каковые символизируют нож убийцы, падение лайнера или пасть крокодила, ужасней этого вроде бы ничего быть не может, но, приближаясь к ним, мы, как однозначно показывают опросы людей, стоявших на пороге, как им казалось, неминуемой смерти, и оставшихся в живых, одновременно приближаемся и к переживанию неопишемого блаженства, заменяющего в последний момент ужас, как в один голос свидетельствуют те же очевидцы.

Мы ценим любовь, на словах признаем ее высочайшим на земле благом, мы от всей души хотим верить той религии, которая, можно сказать, в математической зависимости от степени осуществленности любви в этой жизни определяет нашу посмертную участь, – и однако одновременно количество любви в нас как бы тоже есть своего рода математическая постоянная, мы не можем давать больше любви, чем это нам дано от рождения, и даем ее обычно тем людям и постольку, которые и поскольку либо вызывают нашу естественную симпатию, либо сюжетно вплотную к нам примыкают, каковы родственники, друзья, женщины и тому подобное.

В первые минуты великой влюбленности мы заглядываем в глаза любимой женщине – и видим там, наряду со взаимной любовью, еще и некое неопишемое в словах волшебство, – и вот оно-то, это самое волшебство, одновременно с развитием отношения начинает необратимо сходить на нет, и нет решительно никакой возможности остановить исчезающее на глазах волшебство влюбленности.

Мы в интимных связях теснейшим образом привязываемся к особам противоположного пола – таков, казалось бы, великий смысл половой любви – но одновременно и параллельно та же самая физическая любовь по самой своей природе, постепенно и неизбежно ведет к ослаблению чисто человеческой близости, а то и к ее полному разрушению, – и только те пары могут стать счастливыми исключениями из этого печального правила, которые научились великому искусству любящего управления человеческим началом начала полового.

Даже став буддистами, мы стремимся к освобождению от желаний, но одновременно мы всего лишь очищаем душу и сердце для более тонких и чистых желаний, которые, подобно сновидениям, спят в общечеловеческих архетипах, так что полное отсутствие желаний – как и жизни, расцветающей на их основе – по-видимому просто онтологически невозможно.

Испытывая сострадание к страдающим мира сего, мы замечаем, что страдание безбрежно, как мировой океан, и что ежеминутно на свет божий рождаются для страдания миллионы живых существ! да, мы ощущаем искреннее сострадание ко всем, кто страдает, но одновременно испытываем и некоторое глубочайшее метафизическое недоумение, которое возникает на почве осознания неизбежности страдания как такового, и как следствие бросает некоторую тень сомнения на само чувство сострадания.

Узнавая по телевизору или из газет о какой-нибудь очередной чудовищной катастрофе, мы искренне сочувствуем жертвам, но одновременно испытываем и некоторое постыдное любопытство, которое идет рука об руку с сочувствием, невольно его компрометируя, и это давно уже известно и принадлежит человеческой природе, а лучше всего об этом сказал римский поэт Гораций: «Сладостно наблюдать с надежного берега за терпящими в бурном море кораблекрушение», – и тем не менее килограммовое любопытство не упраздняет граммowego сочувствия: эти нравственно мнимо несовместимые чувства все-таки в нас прекрасно уживаются.

Мы постоянно надеемся на удачную личную судьбу, но параллельно на каждом шагу наталкиваемся на необозримое множество чудовищных несчастных случаев: сознавая, что такое могло бы вполне случиться и с нами и что мы, положив руку на сердце, не заслужили лучшей по сравнению с неудачниками доли, мы все-таки одновременно продолжаем в глубине души просить «наших» богов о поддержке, а заодно и самодовольно верить, что наша карма чуть лучшая по сравнению с ними.

Мы нуждаемся в людях и потому с таким сладостным самозабвением растворяемся иной раз в толпе, но одновременно мы склонны достигать так называемой «критической точки общения», после которой толпа невыносимо раздражает нас и мы, чтобы не сойти с ума, должны остаться наедине с собой.

Мы непрестанно разочаровываемся в посторонних людях, но одновременно догадываемся, что иными эти люди быть не могут, именно потому, что они – посторонние, и тогда мы поневоле примираемся с ними, но наше разочарование в них до конца все-таки не исчезает.

Мы стараемся искренне забывать обиды и даже прощать их, но одновременно замечаем, что никакие конфликты в жизни не проходят бесследно и что, искренне стремясь к восстановлению добросердечных отношений с бывшим оппонентом или врагом, мы все-таки наталкиваемся на невидимую границу, показывающую, что дальнейшее улучшение общения невозможно, и тогда вместо углубления отношения начинается недоуменно-болезненное движение психики по замкнутому кругу.

Мы на протяжении всей жизни только и делаем, что обустроиваем родимый очаг: семью и дружество и как бы накапливаем тепло на узком и тесном, окружающем нас участке жизни, но одновременно мы движемся к финалу, где этот очаг будет неизбежно разрушен и в таком странном, самоупражняющем движении не находим ничего предосудительного.

Мы очарованы бесконечным разнообразием мира, но одновременно замечаем, что сами суть то окно, через которое мы видим мир: окно это постепенно запотеваает и покрывается пылью, – и мысль, что мы всю жизнь видели не мир сам по себе, а всего лишь пейзаж из грязного и запотевшего окна, все чаще нас навещает, хотя ничего не меняет.

Как следует узнав себя к середине возраста, опробовав собственные сильные и слабые стороны, у нас обычно появляется ощущение, что жизнь сложилась не так, как она должна была бы сложиться, нам кажется, что в иных условиях мы раскрылись бы полней и самодостаточней, но одновременно в глубине души мы все больше убеждаемся, что все вышло именно так, как и должно было выйти и что иначе быть не могло, так что все самое существенное в нас эта наша жизнь с переизбытком выставила наружу.

Так что в итоге, родившись мы двигаемся во времени к расцвету жизни и далее к ее концу, то есть мы с каждым шагом приближаемся и к жизни и к смерти: казалось бы, взаимоисключающие координаты и разные пути, но нет – это именно один и тот же путь, потому что приходится допустить, что, идя к смерти, мы одновременно идем и к нашему следующему рождению, – и путь жизни уподобляется кривой, замыкающейся на себя, что и требовалось доказать.

Вот почему так часто приходится наблюдать, как люди в компаниях с добродушным выражением лица и несколько натянутой улыбкой, как бы извиняясь заранее за произно-

симую глупость, радуются тому, что они сумели опять «убить время», то есть заполнить бессмысленное с их точки зрения время жизни, – и если вдруг откровенно и совершенно неуместно в этот момент намекнуть им, что время жизни драгоценно, потому что строго ограничено и что когда-нибудь они, быть может, об этом пожалеют, но будет поздно, они – и к вашему и к собственному – удивлению, с этим тотчас же согласятся, но зададут вам сразу встречный и каверзный вопрос: «А что же нам было делать?»

И обязательно сопровождают его тем испытывающим, не вполне уверенным в себе и все-таки слегка ироническим взглядом, который, поверьте, поставит все точки над *i* в этом сложном вопросе.

II. (Великая метафора возвращения на старую квартиру). – Если Будда действительно прав и мы обречены рождаться снова и снова, пусть в разных обликах, и ничто не может не только упразднить, но даже просто ослабить этот великий космический закон, и мы на самом деле уже не раз приходили на эту землю, и просто не можем вспомнить, когда, где и как именно это было, – короче говоря, если все это действительно так и никак иначе, то сама невозможность вспомнить о прежних инкарнациях, по-видимому, только и спасает нас от безумия осознания тысяч и тысяч нанизанных друг на друга, подобно пестрым бусинкам, жизней.

Потому что все эти жизни, будучи связаны таинственным законом кармы, психологически для нас никак не связаны, и – всего лишь в качестве гипотетического примера – чем больше мы бы о них узнавали, тем абсурдней они бы нам казались, так что всего лишь узнавание того факта, что наша мать, которая в силу предвечной раскладки ролей, должна быть нашей матерью и никем больше, была когда-то... да кем угодно, но только не нашей матерью, мгновенно и радикально обратило бы весь этот мир в абсурдный спектакль: недаром тень абсурда лежит на нашей жизни, и мы эту тень смутно улавливаем боковым зрением.

Но если бы наша память вдруг раскрыла скобки наших предшествующих существований, и тень абсурда, разросшись и поглотив привычные контуры бытия, выступила бы на сцену мира во всем своем сумасшедшем великолепии, то каждый из нас увидел бы себя в роли человека, покинувшего рождением дом родной и на протяжении всей жизни к этому дому родному возвращающемуся, и окончательное возвращение означало бы смерть.

Это как если человек после долгих странствий возвращается на свою старую родительскую квартиру, он намерен стучать в дверь до тех пор, пока ему не отворят, – и просить у отца с матерью прощения, если надо, на коленях, за то, что он забыл про них или же умереть на пороге родного дома.

Но, миновав лестничный пролет, отделявший подъездное окно от родительской квартиры, он знакомой двери не найдет, а на месте квартиры, из которой он когда-то, давным-давно вышел в мир, будет зиять сплошная каменная ниша, и ради пущего правдоподобия будет еще, наверное, пахнуть известкой.

И тогда блудный сын пойдет по лестнице наверх: в надежде, что он ошибся этажом, он отсчитает тысячу ступеней, а потом, вымотавшись и потеряв ощущение времени, присядет на холодный пол, он забудется и начнет вспоминать, как когда-то выбегал по этой лестнице во двор, как писал нецензурные надписи на стене, как ходил в родной сад, как ездил в город, чтобы посмотреть новый фильм.

И припомнится ему, как это обычно бывает в столь важную минуту, еще множество иных, не идущих к делу подробностей, не сможет он только вспомнить одного: когда же именно, на каком этапе своего возвращения на родину он сам умер и это будет самым неприятным во всей истории.

Да, действительно, возвращение только тогда полное и окончательное, когда человек покидает родные края надолго, а то и навсегда, не надеясь, а может быть даже втайне и не

желая возвращаться, и вот после как минимум двух десятилетий, подчиняясь настойчивому требованию обстоятельств – тут и мольбы родителей «увидеться напоследок», тут и непреодолимое любопытство соотнестись хотя бы один раз с друзьями и приятелями (как они распорядились жизнью? и чего в ней достигли? и в чью пользу вышло соревнование судеб?), тут и уникальная возможность посмотреть, как насиженные места, будучи символом мира как такового, изменились за двадцать лет – человек этот, наконец, решает возвратиться, но делает это не торопясь, оформляя свое возвращение по всем правилам искусства: он, во-первых, приезжает в родной город не с обычной, западной стороны, а с противоположной и восточной, потому что там у них с отцом и матерью был когда-то сад, и в этот сад он приходил работать с весны по осень еженедельно в течение долгих-долгих лет, а однажды даже застал в саду отца с любовницей, короче говоря, поскольку сад оказался самым незабываемым и тоскливым его воспоминанием, и еще поскольку он странным образом связывал их развалившуюся семью, а также поскольку сад стал со временем и в европейском далеке воплощать с его точки зрения всю российскую сновидческую реальность, – постольку он через Европу, Америку, Японию и Сибирь возвращается в родную квартиру именно через сад, и в нем предварительно встречается с давно живущими в разводе отцом и матерью – он даже поставил условием своего возвращения приезд их в сад в установленный день и час – а потом, молча посидев за самодельным столом, выпив и водочки, вкусив и колбаски и нехитрый салат из только что собранных овощей – новый владелец сада за скромную плату предоставил сад в полное распоряжение его прежних владельцев – они идут уже на старую квартиру, где он родился и вырос и в которой проживала теперь одна мать.

И там их ждут многие из тех, кого он знал до отъезда, и стол накрыт яствами, и чтобы передать друг другу все накопленные за двадцать лет впечатления, не хватит, кажется, и года... и вот они окунаются воспоминаниями в прежнюю жизнь как в омут, все глубже и глубже – и то сказать: лишь она, эта былая жизнь до отъезда на Запад ему только и снилась, тогда как его хваленое существование за границей, в котором он якобы «души не чаял», не приснилось ему ни разу! – и кажется уже нашему великому возвращенцу, что бывлые участники его довыездного жития-бытия так плотно его обступили, что из их смертоносного кольца ему уже не выбраться, что и речи нет о том, что ему нужно рано или поздно возвращаться в Европу, где у него тоже семья: жена и сын и кое-какие новые знакомые, и работа, да и вообще: новая жизнь, куда там! незаметно, под шумок и стопочки! стопочки! стопочки! строятся планы его женитьбы на девушке, с которой они сидели когда-то за одной партой и которая умудрилась так ни разу и не выйти замуж (поистине знак судьбы!), и она сама жметя к нему за столом, а все либо отводят глаза, либо понимающе им подмигивают, а кроме того со всех сторон заводятся странные, многозначительные, неслыханные, безумные разговоры о том, что «человек только для того и уезжает, чтобы возвратиться», и вот уже его первая учительница: старушка, которую он еле узнал, подымает дрожащей рукой тост за «того, кто нашел в себе силы наконец вернуться в родимое лоно», а полковник внутренних дел (давно в отставке), занимавшийся когда-то его выездом, с расползшимися до неузнаваемости от выпивки и старости чертами лица предлагает выпить за «человека, который сыграл особую роль в истории нашего города, которого в свое время мы выпустили за границу с дальним умыслом: чтобы в один прекрасный момент он сам и добровольно вернулся, продемонстрировав всему миру, что как ни хороша для русского человека за граница, а по большому счету лучше отчизны для него в мире ничего нет и быть не может», и следом родной его отец, почему-то метая на сына недоброжелательные взгляды и в неприятных подробностях пересказав, как они с матерью на протяжении десятилетий уговаривали его хотя бы раз посетить родину («ну точь-в-точь тащили его из Европы как больной зуб изо рта»), добавляет, «что пусть за границей хорошо жить, зато умирать нужно только там, где родился».

И вот тут уже наш герой по-настоящему настораживается, нехорошее предчувствие (которое он всю жизнь имел: потому, наверное, и не хотел приезжать) пронизывает его до костей, и он решает бежать: сию же минуту и под первым благовидным предлогом он покидает родную квартиру, но застольники, конечно, его не хотят отпускать, пытаются удержать и даже бегут за ним, но он все-таки в последний момент вырывается и захлопывает за собой тяжелую дверь... куда теперь? скорее в аэропорт, благо паспорт и деньги при нем, а вещи... до вещей ли теперь? и вот он бежит сломя голову вниз по лестнице, но что за чудо? вместо двух лестничных пролетов он насчитывает пять, десять, двадцать, тридцать... спускаться дальше ему уже страшно и он возвращается назад, по пути, впрочем, его осеняет спасительная мысль: здесь было когда-то окно, да, вот оно и подле него лежит лунная полоса – светлая и ровная, настолько слившаяся с подъездным интерьером, что, кажется, отделить ее от пола можно разве лишь отбив ломиком верхний слой, а какая огромная луна висит над землей! и в лунном свете перед ним коснеет знакомый двор без единой людской души, сплошь залитый лужами, в которых без особых искажений, придавленный луной как пресс-папье, отражается слитный силуэт дома, тополей и сараев и в них же, нисколько не портя пейзажа, застыли старые газеты, стаканчики из-под мороженого и прочий мусор.

И вот он разбивает первое и внутреннее окно, отодвигает раму, собирается таким же способом расправиться и со вторым внешним, как вдруг... кулак его с размаху натывается на стенку, смяв и продырявив картон: какой ужас! это было не настоящее окно, а всего лишь безукоризненно выполненная декорация дворового ночного лунного пейзажа, приклеенная каким-то шутником в каменной нише... откуда она взялась? кто был автором рисунка? когда и как окно подменили нарисованной копией? и, главное, с какой целью? все это были вопросы, на которые только пронзительная щемящая боль в сердце да смутное сознание сгущающейся над ним безнадежности были ответом.

И тогда, цепляясь за жизнь, он со стыдом плетется на старую свою квартиру, откуда только что сбежал: он теперь намерен стучать в нее до тех пор пока ему не отворят, и просить у отца с матерью на коленях прощения или умереть на пороге родного дома, но, миновав лестничный пролет, отделявший подъездное окно от родительской квартиры, он знакомой двери не находит: квартира, из которой он несколько минут назад выбежал, непостижимым образом отсутствует, а вместо двери зияет сплошная каменная ниша и пахнет известкой.

И тогда, тихо заплакав, он идет наверх, без цели и без смысла, просто потому что физическое движение было последним посланным ему Провидением отрадой: шагать или бежать, то вверх, то вниз, отмеривая ступени – он насчитал уже больше тысячи! – было все же легче, чем стоять на месте... в конце концов вымотавшись и потеряв ощущение времени, он приседает на холодный пол: наверное, он ненадолго сумел забыться, потому что ему показалось, что он идет в свой родной сад, но деревья, обрамляющие аллею, стоят голые и корнями наверх.

Припомнилось ему, как это обычно бывает в столь важную минуту (и как уже предположено выше), и множество иных, не идущих к делу подробностей, зато не мог он вспомнить лишь одного: когда же именно, на каком этапе своего возвращения на родину он сам умер, – и это было самое неприятное во всей истории... – да только тогда и при таких условиях возвращение становится полным и окончательным.

Однако как нельзя сразу и наобум совершить какое бы то ни было великое достижение, в том числе даже такое и всем, казалось бы, доступное как идеальное возвращение на родину, но к нему (достижению) надлежит прежде долго и терпеливо готовиться, так точно последнему и окончательному возвращению обязательно предшествует своего рода генеральная проба, и она может выглядеть, например, таким образом: молодой человек, покинув отчий дом, скитается долгие годы с какой-нибудь бродячей актерской группой, а потом, возвратившись домой, застаёт отца разбитого параличом и почти лишенного памяти, однако

у старика хватает все же сил кротко упрекнуть сына в долгом отсутствии и даже ворчливо попричитать, как трудно было ему, одинокому старику, содержать дом и вести хозяйство, а сын его, устыдясь своего бесплодного отсутствия, возьми да и скажи отцу, что он никуда не уезжал, а все это время был здесь, при отце, тот только запямятовал, ему, сыну, мол неудобно вдаваться в подробности отцовского недуга.

И вот случилось чудо: отец поверил сыновней истории (память-то у него стала точно у малого дитя), а вслед за ним, дабы не огорчать больного старика, биографическую поправку усвоила и прислуга, а уже за ней, сначала шутки ради, потом по привычке и весь город: постепенно факт двадцатилетнего отсутствия молодого человека в городе как-то незаметно стерся в коллективном сознании его обитателей, и вот уже злые языки начали поговаривать, сколько терпения и почти женской покорности нужно иметь, чтобы в продолжение добрых двух десятилетий ни на шаг не отойти от престарелого отца, пожертвовать ему юношеской свободой и устройством семьи: поистине такие свойства характера подходят женщине: жене, дочери, подруге, сестре, – но чтобы ими обладал юноша, будущий мужчина и наследник отца – обыватели сомнительно качали головами.

И вот наконец молва о безвыездном житии-бытии сына в четырех стенах отцовского дома доходит до старика-отца, и видит тот скрепя сердце, что люди правы, что не должно мужчине жить подле другого мужчины, точно женщине, даже если это отец родной, но надлежит ему свой путь в жизни проторить, собственный домашний очаг выстроить, семью создать, детей взрастить, и когда придет час, скромно, но с достоинством указать отцу на достигнутое в жизни: то есть ввести его в дом свой и, подведя жену и детей для благословения, просто сказать: «Вот, отец, плоды трудов моих, пусть их немного, зато все честное, доброе, прочное, и всем этим я обязан силе семени твоего, а потому да послужит содеянное мною умножению чести твоей и восстановлению памяти в потомстве, как в свою очередь все достигнутое тобой послужило во благо доброго имени отца твоего».

И так невыносимо тяжело стало на душе старика-отца, что позвал он сына своего к себе и, хотя и знал, что не следовало бы ему этого делать, горькими сомнениями насчет городской молвы как бы перед ним исповедался.

Сын же, как легко догадаться, обрадовался несказанно перемене в образе мыслей отца своего и с сердца его точно камень претяжелый упал, и стал он, сначала робко, но с каждой минутой воодушевляясь, рассказывать отцу историю своей жизни, потому как и ему было в ней чем гордиться: ведь снискал он как-никак, совершенствуясь с годами в трудном, но благородном ремесле лицедейства, славу первого актера в той земле, где странствовала труппа, и сам бургомистр здешней столицы наградил его почетной медалью и даже предложил организовать городской театр, но иное было у него на уме, ибо в сердце его, терзаемом укорами совести, созрело уже непоколебимое решение возвратиться в дом отчий.

Да, вот как все было по правде, ничего он от отца родного не утаил, отец же слушал его и слезы у него наворачивались на глазах: он ведь думал, что сын его все это выдумал, чтобы скрасить последние его часы, – и тогда, не желая огорчать любимого сына – он-то понимал, что изменить ничего нельзя – он сделал вид, что поверил ему и поцеловал на прощанье в лоб, сын же его, безмерно растроганный, однако, стараясь казаться спокойным – он безудержным волнением боялся ускорить кончину отца – сказал только: «Подожди минутку, отец, я сейчас вернусь», и побежал в подвал, где у него в походном сундуке хранилась та самая памятная бургомистрова медаль (он прежде стеснялся показать ее отцу)... поднимался он назад веселыми прыжками, преодолевая разом несколько ступеней, вертя увесистой золотой цепью на руке точно крохотной цепочкой и насвистывая песенку шута из шекспировского «Короля Лира», одной из любимейшей его пьес.

Когда же он вошел в отцовские покои, то увидел, что отец его мертв, и похоронил он отца своего, и остался в доме его, и вел хозяйство так умело, что приумножил доход от вино-

градников и масличных деревьев... и семью успел он завести на старости лет, и родился у него сын, и в положенный час поведал ему старик-отец историю своей жизни: «Поскольку я стар, – сказал он молодому человеку, – то надлежит тебе, продолжая семейную традицию, отправиться в путь дальний, но чтобы ты не повторил моих ошибок, тебе нужно оставаться в чужеземных краях так долго, чтобы все прежде знавшие тебя окончательно разуверились в твоём возвращении: лишь тогда докажешь ты людям, а главное себе самому, что жизнь не театр, и что любую настоящую роль в жизни можно сыграть один-единственный раз», – вот только после подобного мудрого напутствия и только учтя пробный опыт отца своего, молодому человеку удалось, наконец, совершить многотрудный подвиг полного и окончательного возвращения.

III. (Место и время рождения). – По логике вещей они никак не могут быть делом совершенно случайным, и то обстоятельство, что вы, рождаетесь, например, в городе, где никогда не произошло ни одного мало-мальски значительного исторического события, и где само его местоположение располагает к такой невероятной концентрации чувства тихого уюта и ощущения беспросветной тоски, что, кажется, если не щипать себя время от времени за руку, то нельзя понять, живешь ли ты в бдении или во сне, который почти ничем от бдения не отличается – такие сновидения есть, и каждый может подтвердить их существование на собственном опыте – итак, это обстоятельство, в «Гамлете» громко названное «трагедией рождения», неизбежно запечатлевается и в вашем характере, и в вашей судьбе как родимое пятно или Каинова печать: и неспособность избавиться от места и времени рождения, хуже того, обнаружение последствий его и в чертах характера, и в образе мышления, и в стиле почти уже сложившейся автобиографии, и даже во внешности – так обнаруживают раковые метастазы – она, эта неспособность с одной стороны напоминает отчаянные и безуспешные попытки вытащить себя за волосы из болота, с другой же стороны понуждает человека, если у него есть хоть капля ума и вкуса, схватить бумагу и карандаш, чтобы хотя бы несколькими профильными штрихами обрисовать собственное трагикомическое положение, ибо другого пути к спасению – самому настоящему и буквальному спасению, тому, о котором истово молятся старушки в церкви – нет и не может быть, – ведь только через очищение самознания достигается спасение, а что такое это очищение как не амбивалентное стремление навсегда оправдать и вместе упразднить на веки вечные место и время собственного рождения?

Но если вы, не дай бог! склонны усомниться в кармическом предназначении места и времени рождения, то судьба вам обязательно пошлет еще и некоторые другие цементирующие факторы своей безусловной правоты, скорее всего по части самого близкого родства, например, бабу по матери, которая никогда не будет обращаться к врачам, всю жизнь свою будет лечиться травами и умрет не дожив нескольких лет до гордого девяностолетнего возраста от старческой слабости, – при этом она не устанет в продолжение жизни терроризировать свою дочь, то есть вашу мать, будет следить за каждым вашим шагом, пока вы еще ребенок и ранний юноша, а также станет пожизненно враждовать с вашим отцом, как впоследствии выяснится, потому что он отказался с ней переспать, когда она еще была неотразимой соблазнительницей, а ее дочь – неопытной глупышкой, далее, она умудрится, как выяснится позже, быть дворянского рода, но, когда вы тайно решите сбежать на «землю обетованную», начнет без устали бегать по кабинетам вашего стоглазого «Серого дома», чтобы любыми путями сорвать ваш выезд за границу, кроме того, когда вам удалят железы в тринадцатилетнем возрасте, она откажется покинуть больницу и проведет две ночи под вашей больничной кроватью (это чтобы продемонстрировать извечную противоречивость человеческой натуры), ну и чтобы завершить ее скупой портрет: когда в середине семидесятых выйдет в прокат нашумевший фильм «Мужчина и женщина», она потребует запретить его

по причине развратного влияния на молодежь, да и не будет случая, чтобы, увидев на улицу девчонку в коротенькой юбке, она не бросилась бы на нее, как тигрица, с обвинениями, подноготную которых она так хорошо знала по собственному опыту, – умирать же она будет ослепнув и оглохнув, лежа на ваших письмах из-за далекого кордона, выезд куда она так и не сумела предотвратить, и вот тогда-то первое, что вам придет в голову в качестве вступления к ее некрологу: столько чудовищной, необъяснимой дисгармонии, сколько уместилось в ее худеньком, до последнего месяца жизни подвижном тельце, хватило бы, пожалуй, наверняка на десятки людей, но самое поразительное даже не это, – самое поразительное то, что никому из действующих лиц всей этой бесшумной драмы, по жанру и, главное, по атмосфере более близкой кошмарному сновидению, нежели бдящей про себя и о себе жизни, а также никому из ее случайных или неслучайных зрителей даже в голову не придет хоть немного удивиться о происходящем и задуматься о нем, так что для всех вас, получается, ее (то есть вашей бабки по матери) явление в мире было самым обыкновенным событием, – и если представить себе, что каждый житель вашего города хотя бы в той или иной степени похож на вашу бабушку по матери – а исключить это до конца никак нельзя – то отсюда и будет прямо вытекать тот дух призрачного, сновидческого, почти потустороннего, хотя и прикидывающегося до последнего реальным, настоящим и воистину существующим, бытия, которое окутывает со дня основания и по сей день ваш чудесный и уютный город, так удобно расположившийся на самой, пожалуй, великой русской реке.

IV. (Вечное возвращение). – Если вам на склоне лет вдруг покажется, что вы родились не в той стране, в какой следовало бы – потому что вы не можете представить себя в ней полноправным и счастливым гражданином – и не в той семье, в которой следовало бы – тоже по причине тонкой дисгармонии, сделавшей невозможным чувство постоянной и взаимной любви между вами и вашими домашними – и если это ваше странное убеждение постепенно станет вашей второй натурой и вы будете себя в нем упрекать – еще бы! ведь получается, что вы в жизни являетесь тем самым знаменитым танцором, которому, как говорится, яйца мешают, но ничего с собой поделать не сможете, – успокойтесь, еще не все потеряно! вам всего лишь следует задуматься над законом великого контраста: ведь согласно этому закону понять столь основополагающие вещи, как соотношение собственной сущности со страной и семьей, в которых она призвана раскрыться, можно лишь пережив их полную противоположность.

А это значит, что вам все-таки удалось, как бы вы это ни скрывали, познать и другую страну и другую семью, – и уже из этой, зеркально отраженной перспективы, вы осознали то, что осознали: но если так, значит, вы все же под конец жизни нашли то, что искали – ведь счастливая находка была бы невозможна без неблагоприятного исходного пункта: то есть, иными словами, для того только вы и родились там, где родились, чтобы переехать туда, где вы сейчас живете более менее покойно и счастливо, и для того только вы имели первый и несчастливый брак, чтобы создать второй и вполне гармоничный, – но тогда следует с тем большей благодарностью отнестись и к городу, где вы увидели свет, и к семье, которая дала вам жизнь, и к первой жене, с которой все было не так, как должно было быть, и даже к вашему ребенку от нее, с которым у вас тоже нет, не было и никогда не будет полного взаимопонимания.

Короче говоря: не для того вы родились на этот свет, чтобы сделаться оплотом чего бы то ни было (в данном случае страны или семьи), а родились вы на этот свет для того, чтобы стать вечным странником по жизни (и даже без религиозного пристанища, которое это странничество идеальным образом оправдывает), – в самом деле, разве можно сделаться истинным странником, родившись там, где надо?

И весь вопрос только в том, обрели вы на склоне лет и при «втором заходе» надежную гавань или это всего лишь очередная временная пристань? потому как, чтобы стать

«вполне своим» в любой гавани, в нее нельзя приплыть откуда-то издалека, но в ней нужно родиться, – то есть, иными словами, тень предположения Ницше о «вечном возвращении» ложится на вас, и смутная догадка, что вам отныне всегда будет суждено рождаться не там, где нужно, зато еще при жизни с избытком компенсировать последствия не вполне «удачного» рождения, – она, эта догадка, никогда уже не позволит вам ни слепо надеяться на «природную доброту» матушки-жизни, ни тем более однозначно отчаиваться в ней.

II. Метафизика взгляда

Осенний пейзаж с человеком. — Радости и страдания естественно принадлежат этому миру, как свет и тьма, но если радости по отношению к центру человеческой личности являются своего рода луковицей, слои которой нужно убирать одну за другой, чтобы добраться, наконец, до заветной сердцевины, то страдание, истинное и глубокое страдание, подобно пучку света в темном подвале, мгновенно освещает его потаенное дно, — так что, заглянув нечаянно в глаза воистину страдающего, поймав его обнаженный и стыдящийся своей наготы взгляд, почувствовав в нем вопрос, на который вы не можете дать ответа, осознав собственную толстовскую вину без вины виноватого живого человека перед умирающим, а главное, увидев этого человека не в образе луковицы с бесконечными слоями каких-то вечно сменяющихся мыслей, чувств и настроений, а в его двух абсолютно центральных ролях: вчера еще живого, и нынче, уже умирающего, — да, драматичней этого взгляда ничего нет на свете.

Он напоминает брешь в полусломанном старом доме, когда во дворе лежат кучи щебня и камня, дальние стены еще стоят, но передняя, с улицы, уже проломлена, и в ней видна планировка комнат, однако не прежняя, милая и чарующая, обставленная мебелью и декорациями, как в былые славные дни, а сломанная, безобразная, зияющая пустотой, провалами, пылью и полуразрушенным камнем.

И все-таки символика органической жизни в конечном счете осиливает символику жизни неорганической, математическим доказательством чего является одно и то же из года в год поздней осенью переживаемое сложное и возвышенное ощущение... как его описать? когда фонари между деревьев напоминают старинные лампы с абажурами, когда даже безоблачное небо кажется ближе, чем то же небо в облаках и тучах, но весной или летом, когда стволы деревьев черны от сырости, а листья перед тем, как сморщиться и упасть, обретают удивительную красоту и трогательность и падение одинокого листа, кажется, слышно в соседней улице, — да, в такие волшебные вечера пейзаж с деревьями вдоль дороги и фонарем посередине напоминает декорацию камина, — и вся природа, а с нею и весь мир в первый и в последний раз в году становятся интимными, домашними, — и, конечно, можно было бы сказать, что страдать и умирать в это время гораздо лучше и легче, чем в другие месяцы, точно так же, как страдать и умирать лучше и легче дома, чем в больнице, — но ведь это само собой разумеется.

А вот сравнение себя с деревом — в том смысле, что дерево, очевидно, не чувствует боли, когда теряет листья, и даже не испытывает трагедию, если ему отрезают ветви, — так почему же мы так страдаем и переживаем за болезнь отдельного органа, хотя без сожаления расстаемся с собственными ногтями и волосами? — оно, это сравнение, после внимательного созерцания осеннего ландшафта раз и навсегда входит в наше сознание, укрепляется в нем и растет дальше подобно юным побегам: но куда же? в каком направлении? очевидно, в том единственном и достойном звание человека, которое заключается в признании существования в жизни человека — явной, но еще более тайной — некоего ствола, который никоим образом не идентичен с человеческим телом и даже с его мыслями, чувствами намерениями, и потому когда эти последние, то есть все телесное и все душевное, под воздействием времени начнут сморщиваться и осыпаться, подобно осенним листьям, для самого по себе ствола это не имеет абсолютно никакого значения, — и более того, этот естественный процесс является как раз самым надежным залогом будущего предстоящего неизбежного тотального обновления.

В самом деле, подобно тому как только конкретные выражения тех или иных неприятных черт характера человека в поступках и словах оказывают на нас решающее эмоцио-

нальное воздействие, тогда как сами черты характера, будучи первопричиной этих слов и поступков, не вызывают нашего прямого отторжения и мы их с шекспировской широтой взгляда на жизнь принимаем и даже вполне оправдываем, то есть когда нам говорят, что тот или иной человек скуп, ревнив, завистлив или злобен, мы понимающе киваем головой, и лишь когда нам вплотную приходится сталкиваться с красочными проявлениями скупости, ревности, зависти или злобы, мы с отвращением отворачиваемся, – так точно с некоторым гербарийным пристальным любопытством склонны мы засматриваться на высохшие и мертвые ветви и сучья еще живого растения, но уже высохшие и мертвые листья на тех же ветвях и сучьях вызывают в нас некоторое тонкое и необъяснимое раздражение, и мы инстинктивно тянемся оборвать их, – чтобы продолжать как ни в чем ни бывало любоваться профильной оголенностью умерших веток без листьев, – быть может, последняя чем-то напоминает рассказ о человеке вместо самого человека и потому только нам особенно близка.

Вот почему и взгляды беспощадно страдающих людей становятся предельно выразительными не тогда, когда они страшно и пронзительно кричат о своем страдании, а тогда, когда они (люди), напротив, делают все от них зависящее, чтобы показать, что они о нем (страдании) забыли и даже пытаются жить, точно его с ними нет, – и вот эта полная непричастность страданию, причем мнимая или искренняя, совершенно неважно, если она правдоподобно сыграна, точь-в-точь как у животных способна умилить до слез.

Что нас особенно трогает. – Все-таки что там ни говори, а только в глазах человека, который всю жизнь свою прожил без поддержки какой-либо религии, а теперь умирает, по-прежнему полагаясь на одну только жизнь, то есть отдаваясь полной и абсолютной неизвестности, без уверенности достичь какого-либо берега – безразлично, какого – всей ослабевшей психикой настраиваясь на прыжок в Неведомое, в чем бы Оно для него ни заключалось, – да, только в глазах такого человека вы увидите иногда отсвет той невероятной трогательности, которую вы редко встретите на лице истинно верующего человека, зато почти всегда узрите во взгляде умирающего животного.

И причина этой умиляющей трогательности заключается в том, что жизнь, хотя и хлещет нас страданиями немилосердно, странным образом не унижает нас, тогда как в панацеях мировых религий, обещающих нам спасение от страданий и от самой смерти, есть некое субтильное унижение, которое довольно трудно выразить, но которое все-таки всеми нами отчетливо ощущается, – вот всего лишь из естественного отсутствия такого унижения и происходит вышеописанная трогательность.

Подобная трогательность сквозит иногда в лицах стареющих женских знаменитостей, когда они, сняв грим, хотя и шокированы истиной неприукрашенного лица, все-таки предпочитают открыть ее (истину) себе и людям, нежели скрывать ее под фальшивой маской.

В защиту скромности. – Не правда ли: любой слишком нескромный взгляд в нашу сторону не потому в первую очередь вызывает у нас мгновенный и инстинктивный отпор, что как бы вскрывает нашу душевную наготу и в нее болезненно впивается, подобно иным злобным насекомым – хотя и это тоже – а потому, что претендует подсмотреть поистине самое главное в нас, то есть как бы наше существо и нашу душу: но ведь это невозможно даже для нас самих, не говоря уже о посторонних?

И вот это категорическое несогласие с выносимым нам на глазах приговором, в чем бы последний ни заключался, как раз и выражается нашей аллергической реакцией на любой слишком нескромный взгляд в нашу сторону, тогда как забота об интимной душевной гигиене идет уже потом, – итак, сначала духовное, а за ним уже физиологическое, но никак не наоборот: соблюдение иерархии от Высшего к Низшему превыше всего.

Клятва верности. – Для того, чтобы оставаться верным себе, нужно помнить основное выражение своего лица и по возможности придерживаться его, – но что такое «основное выражение лица»? как его определить? от чего оно зависит и какие мускулы в нем задействованы? ведь анализировать линию губ, разрез ротовых складок, расширение ноздрей и угол бровей есть все-таки мелочное по большому счету занятие, – все дело, значит, в выражении глаз, оно и оформляет пластику лица.

Обращает на себя внимание: встречаясь с людьми, которых мы не видели долгие годы, перелистывая по случаю любезно предоставленные нам чужие семейные альбомы, где заботливо собраны фотографии всех возрастов, а главное, вспоминая себя самих в младенчестве, мы наталкиваемся на одну и ту же закономерность, а именно: если взгляд человека в позднем возрасте напоминает его же собственные ранние фотографии, то это всегда и без исключения тот самый взгляд, в котором отражены самые существенные черты его характера, если не сказать, души, – и вот с таким человеком обычно можно иметь дело; плохо, когда человек изменился настолько, что в нем уже нельзя найти его прежнего и характерного.

Казалось бы, мы для того и приходим в этот мир, чтобы развиваться, и чем круче и дальше кривая нашего развития, тем лучше для душевной эволюции, однако на деле оказывается как раз наоборот: чем идентичней выражение глаз у младенца и сорокалетнего человека, тем чище, достойней и, между прочим, симпатичней представляется нам этот последний, а когда о человеке в возрасте говорят: «ты совершенно не изменился», то это и вовсе следует понимать как комплимент в редчайшем умении пронести хрупкое и волшебное зерно детства сквозь невзгоды лет и прозу созревания.

Вот почему для того, чтобы понять себя, мы обращаемся к своему детству: река жизни течет от истока к устью и мы, подчиняясь космическому закону возраста, от рождения движемся к смерти, но наше взрослеющее и набирающее с каждым годом мудрости сознание, подобно форели в горном ручье, тихо плывет в обратном направлении: от будущего в прошлое и от зрелости к детству, – там и только там, в лучезарном и поистине кажущемся нам безначальном детстве спрятаны ключи от нашей судьбы, и записаны, подобно школьным шпаргалкам, ответы на те вопросы к жизни, которые мы будем ей задавать по мере осуществления нашей биографии.

Мы спрашиваем себя, почему так, а не иначе сложилось наше отношение к женщинам, а ответ лежит в нашем самом раннем и часто бессознательном восприятии девочек; мы спрашиваем себя, отчего у нас такая склонность к компромиссам, вплоть до досадной трещины на фасаде собственного достоинства, а ответ заключается в некоторой трусоватости, когда мы еще в семилетнем возрасте избегали драк «один на один», предпочитая искать союза с сильными ребятами; мы спрашиваем себя, отчего мы стали или не стали религиозными людьми, а ответ состоит в том самом первом впечатлении, который на нас произвел храм Божий и в особенности служба в нем, – и так далее и тому подобное.

Как правило, наши возможности обозримы уже в детстве и из них, как ясень из семени ясеня, произрастает древо жизни любого человека; просто естественное состояние ребенка – это некоторая отрешенность от повседневности, в которой живут его родители, а он, ребенок, как будто только участвует, – ребенок лишь одной стороной живет в повседневной жизни, а другой своей стороной – в том волшебном или полуволшебном мире, которое создает его неопытный ум и свободное пока еще от пут обыденности воображение.

Конечно, чем меньше развито воображение ребенка, и чем больше у него склонность к практической жизни, тем недоступней для него волшебные переживания, но все-таки, думается, какой-то минимум взгляда на жизнь как на некую тайну свойственен любому малышу, и кто знает, быть может полное отсутствие названной перспективы в младенческом возрасте как раз и есть основная причина самого непонятного людям поступка: самоубийства, – также и самоубийство случается обычно в позднем возрасте, но корни его лежат тоже в детстве.

Вспомним толстовского Сережу Каренина, глаза которого светились чудесным смехом, даже когда он сам старался казаться серьезным, – это нормальное состояние ребенка, но вспомним также и обратное соотношение глаз и лица: глаза Печорина не смеялись, когда сам он был вполне весел; ясно, что таков же и портрет Лермонтова, и трудно себе представить, чтобы в детстве наш великий поэт был иным; нет, также и в возрасте Сережи Каренина Миша Лермонтов был как его будущий Печорин: с вечно несмеющимися глазами, – но с несмеющимися даже в детстве глазами в мир приходит либо демон, либо прирожденный самоубийца, – вот Лермонтов и был как раз тем и другим одновременно.

Итак, по этой самой чудесной зачарованности «непонятно чем» мы и отличаем детей от взрослых, и она всегда отражается в первую очередь во взгляде ребенка, – так что если человек сумел хотя бы йоту ее пронести сквозь жизнь, мы сразу узнаем его на фотографиях, отделенных десятилетиями, но при условии, что на них запечатлено основное выражение его лица.

Если же основное выражение не схвачено фотографом или если ребенок сизмальства был чужд волшебной струи и развивался исключительно по линии практических интересов, – вот тогда его узнать на фотографиях разных лет действительно очень трудно: но в той же мере затруднительно решить, кто же он все-таки такой с фантастической, парадоксальной, но в конечном счете единственно верной перспективы «замысла Божьего о нем».

Есть ли у души глаза? – Фантазируя о чертах лица и пропорциях тела, мы склонны изменять их мысленно в свою пользу: увеличивать рост, сбавлять объем живота, утончать форму носа, поднимать лоб и опускать подбородок, вообще выправлять явно выраженные аномалии, но при этом нам не приходит в голову, что с каждым таким изменением может непредсказуемым образом измениться наша личность: нам все кажется, что это произойдет только тогда, когда мы посягнем на автономию глаз, – и потому в наших фантазиях об иных и предпочтительных физических пропорциях мы инстинктивно никогда не касаемся наших глаз.

И наверное мы правы.

В самом деле, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, иными словами, какое бы выражение в них ни доминировало, не только невозможно проследить его до конца и запечатлеть в словах, но найдется всегда еще множество побочных оттенков этого взгляда, каждый из которых при изменении обстоятельств и настроения души способен сделаться на время доминантным, – и вся оптическая магия человеческого взгляда на протяжении жизни поистине столь же многообразна, как любой ландшафт, меняющийся поминутно в зависимости от солнечной интенсивности, облачной среды, времени года и суток.

Но незаконченность как важнейшее бытийственное измерение отличает не только взгляд, но и феномен искусства, да и само мироздание в целом: правильно задуманные, но незавершенные роман, драма или эпопея весят на весах искусства гораздо больше, чем с блеском отделанные мелкие вещицы.

«Замысел "Ада" Данте, – как глубокомысленно подметил Пушкин, – есть уже плод великого гения», и если бы от «Божественной Комедии», «Фауста», «Илиады», «Войны и мира», «Гамлета», «Братьев Карамазовых», «Обломова», «Процесса», «Мастера и Маргариты» и прочих им подобных гигантов остались не просто уцелевшие куски, но даже всего лишь внятные наброски, мы бы и тогда относились к ним с тем особенным духовным пие-тетом, который мы никак не можем натянуть по отношению к мелким вещам, сколь бы безукоризненны в чисто художественном плане они ни были.

Точно так же когда мы смотрим в ночное небо и видим мерцающие звезды на расстоянии световых лет, быть может давно угасшие, а свет от них пока еще в пути, когда при

этом мы невольно задумываемся о Творце мира, заранее догадываясь, что найти его будет не так-то просто, – разве тогда нам не припоминается вышеприведенное высказывание Пушкина о Данте: замысел мироздания уже есть плод чьего-то гения? и разве этот замысел в нашем восприятии не остается всегда именно незаконченным: во-первых, потому, что само мироздание в непрестанном саморазвитии, а во-вторых по причине нашей принципиальной невозможности постичь мироздание во всей его целостности?

Правда, когда от храма Аполлона остается пара колонн – это, конечно, маловато, но когда в том же храме недостает лишь пары колонн, его магия от этого только выигрывает, по крайней мере для нас, дальних потомков эллинов, а пожалуй и всего лишь их благодарных зрителей, – также и здесь искусство является самой точной моделью мироздания, а кроме того, что еще важней, также и моделью нашего первичного и глубинного его восприятия, и в этом смысле допустимо предположить, что если и есть в человеческом теле орган, который более других отражает или, лучше сказать, выражает образ души, в существовании которой нам вместо веры так бы хотелось иметь полную уверенность, то это конечно глаза и их взгляд.

И вот они-то снова и снова намекают на объективное существование души, но никогда не предоставляют нам полной в том уверенности: душа в нашем интуитивном постижении всегда и при любых обстоятельствах остается незаконченной и неопределенной.

Обращает на себя внимание: тело ощутимо подвержено изменениям времени, в том числе и обрамление глаз – веки, ресницы, окружные морщины и впадины, однако сам взгляд старению почти недоступен, основное выражение его, правда, существенно меняется с возрастом, но это именно не старение, а возрастное изменение, так что у старцев с развитым сознанием взгляд и по шкале витальности не уступит взглядам молодых людей: мудрость здесь вполне уравнивает юношескую энергию.

Вот почему тело рано или поздно обращается в прах и смешивается с землей, а глаза просто раз и навсегда закрываются и их взгляд уходит в действительность, которую мы называем гипотетической, то есть такую, которую невозможно ни доказать, ни опровергнуть: но не в такую ли гипотетическую действительность уходит и наша душа? а точнее, не в ней ли она изначально пребывает?

Ведь наша жизнь обращается рано или поздно в прошедшее время, уподобляясь вороху сухих листьев осенью, тогда как наше ментальное тело, оставляя минувшую жизнь, устремляется в астрал, а оттуда в следующее будущее, которое тоже обратится когда-нибудь в прошлое и стало быть ворох сухих листьев; у нас всегда, таким образом, есть прошлое, которое недвусмысленно указывает на тщетность любого существования, но у нас всегда же есть и будущее, которое неизбежно толкает нас к новой жизни.

Нельзя тем самым понять ни себя ни жизнь, отталкиваясь только от прошлого, но еще меньше можно понять себя и жизнь, настраиваясь на одно только будущее, они повторяются, сменяя друг друга, и так было, есть и будет вечно.

Как можно преодолеть ощущение торжественного покоя прошлого? но еще больше бессмертную тоску будущего и непреодолимую к нему тяготу? для этого надобна недюжинная и постоянная внутренняя работа, нужно неустанно держать перед умственным взором неминуемый финал жизни – болезни, старость и смерть, нужно постоянно видеть и переживать жизнь как ворох сухих листьев, нужно загадывать и дальше: как последующая и последующая и сотая и тысячная жизнь кончатся болезнью, старостью и смертью, – и миллионная по счету жизнь превратится в ворох сухих листьев, нужно задействовать все силы фантазии, нужно представлять, как мы обречем статус какого-нибудь светоносного существа, которое способно будет преодолеть пространство и время, – но и тогда астральные болезни и астральная старость не прекратят подтачивать наш светоносный образ.

Иными словами, чтобы обрести полную независимость от времени, надобно восстановить в душе неизменяемое сознание, как будто все явления, возможные во времени – читай земной жизни – пережиты до конца, то есть до той метафизически предельной душевной сытости, когда желание заново испытать их в какой-либо вариации полностью и необратимо отсутствует, иначе говоря, вырвано из души с корнем, – и вся беда здесь только в том, что, по всей видимости, такое психологическое состояние, поистине самое религиозное из всех возможных, реально недостижимо, к нему можно только приближаться, им можно восхищаться, о нем можно мечтать, но воплотить его в собственной жизни вряд ли возможно.

Впрочем, это как будто удалось Будде и многим его последователям, но и тут доказательств нет никаких и, точно так же, как в христианстве, вера подводит подо всем жирную финальную черту.

А до тех пор в любом разочаровании скрыты семена надежды и радости, разочаровавшая женщина толкает нас в объятия другой женщины, за болезнью следует выздоровление, а если даже болезнь заканчивается смертью, то разве не от смерти ожидается самое радикальное обновление? и пусть прожитая жизнь обратилась в ворох сухих листьев, под спудом уже начинаются клейкие ростки.

Итак, что же первичней: молодая зелень, обращающаяся по осени в сухой мертвый ворох? или этот ворох, обуславливающий по весне новую зелень? на все можно смотреть как на обреченное когда-то закончиться: черепом и костями, но на все можно смотреть и как на обреченное когда-то снова начаться: нежной клейкой зеленью и улыбкой младенца.

Обе точки зрения одинаково правы, и если бы Будда указал нам только на кучу опавших листьев как итог и символ жизни, он не далеко ушел бы от умнейших Лермонтова и Шопенгауэра, но Будда предлагает нам нечто большее: он предлагает нам – оставаясь в пределах образов природы – перестать быть деревом, вечно сбрасывающим осенью и надевающим весной листву, и стать небом, раскрывающим свою безбрежную, бездонную и особенно поразительную по красоте синеву именно весной и осенью, на фоне еще не одетых или уже разодетых деревьев.

Небо – универсальный символ буддийской ниббаны и у него тоже есть своя психология, как есть она и у дерева, но элементарная интуиция подсказывает нам, что, хотя дерево по-своему абсолютно совершенно, небо все-таки выше и значительней его, а главное, как-то больше соответствует природе и назначению человека: без дерева прожить можно, но трудно, без неба прожить никак нельзя.

Метафизике и психологии неба соответствует и основная музыкальная тональность нашей жизни, ибо поскольку первоосновы бытия не существует, так как любая первооснова пребывает в комлементарном созвучии со своей противоположностью, то и для человеческого восприятия ясная лазурь и ночное звездное небо выступают не только символами бытийственной первоосновы, но и ее адекватными выражениями, так что любой феномен, увиденный, помысленный или пережитый на фоне самого светлого или самого темного неба, начинает поистине звучать, и более того, приобретает сразу наиболее выразительное звучание.

Плющ на фоне лазури, античная колонна, обвитая плющом, на фоне лазури, католический ангел или надгробный памятник на фоне лазури, – все это смысловые музыкальные аккорды по возрастающей, апогейный же изгиб эта, быть может, самая главная тональность нашей жизни достигает, когда вся прожитая жизнь представляется на фоне лазури, и тогда о ней можно сказать следующими стихами. —

Слышишь, мой друг, как пред дальней дорогой
сердце волнуется близкой тревогой?

ясна лазурь и опор лишена,
станет нам пристанью только она:

в ней все, что было и вечно пребудет,
может быть, будет, а может, не будет,

в ней суждено нам и вечно пребыть:
может быть, быть, а быть может, не быть.

Вот аналогом лазури в человеческом теле как раз и являются глаза, а то обстоятельство, что, как сказано было в самом начале, из всех частей тела и черт лица глаза и источаемый ими взгляд обладают максимальной степенью неопределенности и незаконченности, только подчеркивает целомудренность ее природы: как будто наша душа, не желая, чтобы ее увидели с улицы, задвинула в окне занавески.

Классики не ошибаются. – У нашего Пушкина есть любопытная фраза: «У души нет глаз», она настраивает на весьма своеобразный лад, для сравнения – портрет слепого из Лермонтовской «Тамани». – «Итак, я начал рассматривать лицо слепого; но что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз? Долго я глядел с невольным сожалением, как вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое неприятное впечатление. В голове моей родилось подозрение, что этот слепой не так слеп, как оно кажется; напрасно я старался уверить себя, что бельма подделать невозможно, да и с какой целью? Но что делать? я часто склонен к предубеждениям...»

В самом деле, «что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?», однако Лермонтов прочитал, его слепой и без глаз поразительно зрим и почти зряч, тогда как пушкинские персонажи и с глазами производят безглазое впечатление, а между тем люди не сговариваясь как будто условились в том, что если и есть в человеке душа, то выражается она только в глазах: недаром, чтобы постичь самую суть человека, мы смотрим ему в глаза и все животные, чтобы узнать и познать нас – насколько им это дано – тоже смотрят нам в глаза.

И лишь Пушкин выразился в обратном направлении, почему? такова была его стилистическая манера: чрезмерная энергичная заряженность не позволяла увидеть портрет в детали, как не позволяет сверхсильное эмоциональное волнение остановиться взглядом на многих подробностях сразу, зато Пушкин умел создавать лик вещи в энергичном облаке, лик вместо лица, здесь до иконописи один шаг, – поэтому стилистически Пушкин православен как никакой другой художник, а психологически далек от православия тоже как никакой другой: еще одна, между прочим, антиномия, которая может послужить эпиграфом к нашей исконной культурной и исторической загадочности.

При чтении Пушкин производит сильнейшее впечатление, но едва томик отставлен в сторону, впечатление от него убывает, точно туман рассеивается на глазах или как будто у волшебника Карла срезали бороду, а все потому, что у «нормальных» писателей описываемые миры пахнут, как живые вещи и оттого запоминаются, тогда как Пушкин подобен гениальному парфюмеру из романа Патрика Зюскинда, который мог улавливать все запахи мира, а сам не имел ни одного, – пушкинский художественный космос как бы приподнят над землей и изъята из под него его плотская, пахнущая субстанция.

Вещицы Пушкина – энергичные сгустки, пластически очерченные до внятности телесных форм, они световоздушны, а их субстанция суть заряженный субтильной энергией воздух, причем световая моделировка идет от содержания, сокровенный же фон образов черно-белый, графический, пушкинское творчество голографично по духу, и оттого является величиной переменной, – Пушкин может казаться одним (подавляющему большинству русских)

самым гениальным художником, а другим (почти всему миру в переводах, но и в оригинале великолепному Синявскому) тем самым королем, который почему-то оказался голым, и обе стороны будут по-своему правы.

В то время как у писателей-реалистов на описываемых мирах можно ходить и плясать, у Пушкина за строкой вообще ничего не стоит, опереться на него нельзя, не ровен час – упадешь, потому что все «стоящее за строкой» Пушкин вобрал в строку и тем самым начисто упразднил задний план, его фон точно гигантским волшебным шприцем оказался втянут в план передний, вплоть до полного их отождествления, пушкинские образы, употребляя термин А. Ф. Лосева, эйдосны: пусть это не идеи Платона, но эйдосные персоналистические сгустки, – как бы некая «золотая середина» между платоновскими идеями и поздним реалистическим портретом.

Образы Пушкина духоносны и духовидны, естественно поэтому, что «обыкновенным» наблюдением, «обыкновенным» мышлением и «обыкновенным» творческим процессом их не создашь, а только вдохновением – почти на грани того, что русская церковь и русские святые называли «вечанием Духа Святого», то же очевидное обстоятельство, что Пушкин с его помощью вызывал к жизни любые образы – в том числе и откровенно демонические – опять-таки подытоживает, как равно и предвосхищает русский сюжет: ну как, в самом деле, «божественной любви и милосердию» не встретиться здесь лоб в лоб с «демонической ненавистью и братоубийством»? этот сюжет уже присутствует в зерне в Евангелиях, его воплотит в жизнь католическая церковь, его будет смаковать Достоевский, и его утвердит в апокалиптическом масштабе русская революция.

Итак, есть ли душа, и если есть, то есть ли у нее глаза? рассуждаю так: мы все в жизни играем роли и кроме этого по сути ничего не делаем и делать не можем, и все-таки, как бы безукоризненно ни сыграл человек свою роль и как бы ни был он непредставим помимо ее, витает над ним некий неразложимый ни на какие составные остаток его существования, и заключается он в смутном, но очевидном для всех предположении, что возможна была альтернатива, была возможна какая-то иная роль, какая именно – мы никогда об этом не узнаем, и рассуждать о ней – самая праздная на свете вещь, просто была возможна альтернатива, и все, – так подсказывает нам интуиция.

А если так, то существует, просто должно существовать и некое метафизическое человеческое лицо, которое играет предназначенные ему роли, что это за лицо – мы тоже никогда не узнаем, и рассуждать о нем тоже есть самая праздная вещь на свете, просто оно, это наше метафизическое лицо, возможно, и все, – так подсказывает нам наша интуиция.

И вот это самое метафизическое наше лицо, играющее наши жизненные роли, и есть наша душа, точнее, поскольку это лицо, строго говоря, только могло бы быть, могла бы быть и наша душа: душа пребывает, таким образом, всегда в гипотетическом измерении, поэтому ее никогда не могли обнаружить, но так как вероятность есть всего лишь особая и пограничная форма реальности, то о ней говорят и думают как о чем-то вполне реальном, просто при этом забывают любое высказывание о душе поставить в сослагательное наклонение.

Пушкин же об этом никогда не забывал и потому догадался, что у души нет глаз, – вот почему, музыкально откликаясь на эту благую пушкинскую весть, мы склонны, читая его, непрестанно делать паузы, я не знаю другого писателя или поэта, при чтении которого так неудержимо тянет отложить книгу в сторону – и погрузиться в «беспредметную задумчивость» или это лишь моя личная склонность и к Пушкину не имеет никакого отношения? не знаю, но только заметил я за собой, что в паузе от чтения вообще и Пушкина в частности как-то сразу и насквозь постигаются все основные вопросы жизни: в том смысле, что раз и навсегда вдруг понимаешь, что любое серьезное и глубокое размышление ни к чему, собственно, не ведет и вести не может, а закономерно оканчивается метафизическим тупиком, то же размышление, которое приводит к каким-то окончательным и однозначным выводам,

просто недостаточно серьезно и глубоко, однако само по себе размышление, если оно идет от глубин сердца, драгоценно, ценить его, любить и по возможности практиковать – также и этому учит нас Пушкин.

Бурный, мятежный, противоречивый, зачастую циничный и местами развратный, он, как известно, в процессе писательства преображался, становясь поистине благородным и просветленным, – и вот читая его мы идем как бы по его стопам, и если на его челе – мы это знаем доподлинно – покоилась в творческие часы печать особой духовной красоты, то смутный оттиск этой печати мы с удивлением обнаружим и на наших лицах, если взглянем на себя в этот момент в зеркало.

Право, мы ни о чем вроде бы не думаем – а в глазах столько глубокого и самодостаточного размышления, словно мы решаем главные проблемы бытия, и далее, в той же плоскости, – мы не совершили никаких прекрасных поступков, не прославились актами милосердия и самопожертвования, а между тем совесть наша спокойна и чаша жизненного опыта полна, точно мы прожили десять жизней, – и нет в этой чаше ни сладкой приторности, ни ядовитой горечи, а есть лишь один тонкий, уравновешенный, напоминающий по вкусу березовый сок, нектар бытия.

Наверное, это великий грех – находить в иллюзии жизни едва ли не большую отраду, чем в самой жизни, но что тогда сказать о тех, кто саму жизнь назвали великой иллюзией? и как знать, быть может только пребывая в вымышленных мирах, мы впервые по-настоящему у себя дома, потому что сама наша жизнь подобна книге, которую мы пишем и читаем одновременно и, быть может, вся задача искусства только к тому и сводится, чтобы научить нас, наконец, этому поначалу необычному (потому что бесполезному) и subtilному, но по сути совершенно точному и единственно верному взгляду на себя и свою жизнь, когда же мы это поняли, потребность в буквальном и кропотливом восприятии искусства отпадает.

И тогда достаточно взять книгу в руки, перечитать пару страниц, а то и вовсе лишь пару строк или только задуматься, отложив книгу в сторону, и задуматься даже не о содержании книги, а о чем-то другом, о своем и близком, или о чужом и дальнем, неважно, просто задуматься, без какого-либо содержания, смысла и цели: великая эта, если присмотреться, задумчивость, – так читал и задумывался Пушкин.

В самом деле, если когда-нибудь, спустя сотню или тысяч лет, мы сумели бы чудом восстановить в сознании эту нашу теперешнюю жизнь, она, быть может, тотчас и вызвала бы в нас эту самую великую и беспредметную задумчивость, ибо ничего другого и никаких иных чувств она просто вызвать не может: в самом деле, жизнь была нам дана как самый таинственный и драгоценный дар, и вот этот дар исчез бесследно и необратимо, как будто его и не было, как это осмыслить? можно ли это осмыслить? а если нельзя, так что лучше вообще об этом не думать.

И вот подготавливаясь заранее к этому великому и последнему подведению итогов, мы инстинктивно все чаще и чаще во второй половине жизни отвлекаемся от чтения и вообще любого восприятия искусства – спасаясь в паузу: поистине, если она нам не поможет, то уже ничто не поможет, но она помогает и только она одна, и когда мы в паузе целиком и полностью, нам кажется, что мы куда-то смотрим, ничего не видя.

На самом же деле мы все видим, никуда не смотря, – так смотрит по Пушкину наша душа, у которой нет глаз.

Точно ли человек произошел от обезьяны? – Вопреки мнению Пушкина, что у души нет глаз, мы по-прежнему убеждены, что если и есть в человеке душа, то выражается она во взгляде, в чем же еще? мы постоянно смотрим друг другу в глаза – как будто стремимся заглянуть в самую душу, – и хотя знаем заранее, что взгляд слишком подвластен сиюминутным настроениям, что он вполне зависит от ситуации, что не может быть в нем больше,

чем просто соотношения черт характера и ситуации, мы все-таки, хотим того или не хотим, пытаемся в нем увидеть саму душу или ее синонимы, каковы самость, внутреннее Я и т. п.

Действительно, все самые важные решения жизни один человек сообщает другому глядя в глаза, и если он отводит взгляд, значит что-то не так, немыслимо, например, чтобы мужчина, признаваясь женщине в любви, смотрел в сторону, и точно так же плохи его дела, если женщина отвечает ему отводя глаза.

С другой стороны, если один из любовников все-таки находит в себе силы, глядя прямо в глаза, сказать, что любовь закончена, отношение между ними, перестав быть любовным, может сохранить на всю жизнь своеобразную чистоту, ровность и прочность, – и хотя ни забыть, ни простить отказа в любви невозможно – так уж устроена человеческая природа – тем не менее между партнерами остается несокрушимое уважение и даже полное взаимное доверие, да, как это ни странно: несмотря на то, что один человек причинил другому самую острую экзистенциальную боль, именно на него, причину и источник боли, можно в трудную минуту положиться, – пусть до этого на практике никогда и не дойдет.

Вообще любая глубокая эротика начинается со взгляда и взглядом же заканчивается, только половое влечение, идущее от глаз, есть самое чистое и длительное, но то же самое влечение, вызванное исключительно телом, грубо, недолговечно и напрямую соседствует с порнографией, – а китайские эзотерики даже рекомендуют испытывать оргазм, глядя друг другу в глаза, что, правда, чертовски трудно и неестественно, но способно и в самом деле, как подсказывает интуиция, повести к каким-то важным и далеко идущим душевным трансформациям.

Даже ненависть, струящаяся из глаз в глаза, не так страшна и опасна, как та же ненависть, расправляющая змеиные кольца в спину и помимо прямого зрительного контакта: да и все положительные чувства, сопровождаемые взаимным взглядом, усиливаются, тогда как чувства противоположные и отрицательные, выраженные в искреннем взгляде, ослабляются, – они ослабляются потому, что, будучи темными и скрытными по своей природе, инстинктивно избегают открытого взгляда, как избегают света вампиры.

Каждый по опыту знает, как трудно лгать, глядя в глаза, и столь же нелегко зрительным контактом выражать симпатию, если человека терпеть не можешь, когда связь между людьми глубокая, то при внимательном и беспричинном взгляде друг на друга они испытывают некоторую приятную неловкость, которая обычно сопровождается вопросом: «Что-нибудь не так?» – именно такие взгляды запоминаются на всю жизнь, – и кажется иной раз, что подобный немой диалог глазами, пройдя через всю жизнь даже подзабывших его участников, не остановится перед самой смертью и, сорвав ее печати, посетит своих (уже) астральных хозяев, заново, вызвав в них то вечное и поистине великое Недоумение с большой буквы, которое равным образом характерно как для земной, так и для неземной жизни.

Да, безусловно были, есть и будут люди, которые не только не скрывают своего бешенства и злобы, но прямо-таки не стесняясь стараются показать их во взгляде, – что же, можно только повторить: во-первых, любые эмоции, даже самые отрицательные, выражаясь в глазах, приобретают законченное выражение, а во-вторых, они неизбежно – и именно при данных условиях – истощаются, причем одно, если присмотреться, не противоречит другому: если боль, злоба, ревность, откровенная недоброжелательность, зависть, ненависть и прочие эмоции с отрицательным знаком настолько сильны в человеке, что он не стесняется выражать их в прямом и открытом взгляде, значит тому и быть, значит, чувства эти неслучайны и принадлежат к его характеру, а быть может и его судьбе, – и тем самым они должны быть так или иначе выражены и изжиты, потому как выше и значительней кармической драмы в этом мире ничего нет.

Также и здесь великий Шекспир (или тот, кто творил под его именем) показывает нам путь: его Макбет, коварным убийством короля сжегший все мосты и потерявший место под

солнцем, не способный – в отличие от Раскольникова – покаяться, вынужден идти до конца: от злодейства к злодейству, пока не будет убит сам, – и тем не менее мы почти против воли уважаем его больше, чем Раскольникова, почему? может быть потому, что догадываемся интуитивно, что Макбет, даже будучи нераскаянным и нераскаявшимся убийцей, не отводил взгляда, как отводил его Раскольников, поистине шекспировский герой предпочел людскому суду суд божий – или, точнее, провидения, – а на это способны немногие.

Зло, очевидно, было, есть и будет, иные считают его тенью добра: в том смысле, что злые дела, чувства и мысли долго не могут удерживаться в душе по причине вторичной и раздробленной своей природы и потому рассыпаются со временем прахом, это отчасти верно, но бывает, увы! и наоборот: когда люди, подлаживаясь под других, пытаются делать что-то привычное и хорошее, но скоро осознают, что созревает в их нутре совсем иное и темное зерно, и что развить это зерно в чудовищный плевел есть их прямое и страшное призвание, – имя таких людей у всех на устах.

И то обстоятельство, что у таких людей есть литературные прообразы – как бы их вне-временные родители, покровители и боги – показывает, что в моральном срезе проблема добра и зла не решается, зато она вполне удовлетворительно решается в эстетическом плане, доказательством чего является практически все западное искусство, – у него и ищите ответа, но бывает, что за ответом ходить далеко не надо и сама повседневная западная жизнь наставляет вас на путь истинный.

Например, если вы встретите человека, совершившего неблагоприятный поступок, а то и злодейство, и он не только не отведет взгляда, но станет смотреть на вас прямо и без стеснения, и не будет в его взгляде никаких угрызений совести, более того, если он сам начнет спрашивать вас глазами, с какой стати вы уставились на него так дерзко и неприлично и чего вы от него хотите и, не получая ответа, уже слегка станет морщиться от вашей недопустимой назойливости, главное же, если вы будете читать в его глазах полную уверенность в собственной правоте и ничего не сумеете против нее возразить, кроме как приоткрыть от удивления рот и слегка выпучить глаза, – да, вот тогда, пожалуй, вы усомнитесь в тех казавшихся вам незыблемыми законах, что, во-первых, душа выражается во взгляде, что, во-вторых, она вообще есть и что, в-третьих, существуют в действительности вечные понятия добра и зла.

Подобные духовные опыты можно делать на каждом шагу на Западе и редко в России: но что из этого вытекает? прежде всего то, что происхождение человека из обезьяны, в котором склонен в глубине души сомневаться русский человек и в котором втайне не сомневается человек западный, не только не заключает в себе ничего для нас постыдного и унижительного, но делает нас поистине возвышенными живыми существами, хотя, с другой стороны, иные наши качества вызывают по закону контраста сильнейшую аллергическую реакцию, – не такова ли матрица наших многовековых отношений с Западом?

Страх перед куклой. – Карлики и малые дети начинают внушать подлинный ужас, когда они способны совершить зло, во-первых, не имеющее видимой причины, а во-вторых, далеко превосходящее границы обычного человеческого воображения.

Карлики – это особый вопрос, но дети суть существа, по самому своему природному определению неспособные накопить жизненный опыт, достаточный для хладнокровного убийства, каузальность в детских злодеяниях полностью отсутствует, – и потому если оно все-таки имеет место, то кажется нам поистине сатанинским, феномен хоррора входит в мир, но любопытно, что последний характерен только для западной и преимущественно англосаксонской цивилизации, а наша русская культура – за исключением одного-единственного Гоголя – понятия о нем не имеет, напротив, дьявольский ребенок и даже кукла как ребенок в ребенке суть запатентованные герои западных хоррор-фильмов, причем на высочайшем

качественном уровне, а удавшееся качество, как известно, всегда свидетельствует о несомненной экзистенциальности изображенного феномена.

У нас же, русских, злое дите дальше хулигана и бандита не пошел, стало быть подлинным хоррором у нас и не пахнет, да и на практике я ни в западных, ни в российских детях подлинного хоррор-зерна никогда не примечал, есть ли они вообще на житейском уровне? может быть и нет вовсе, – откуда же тогда возникли хоррор-ребенок и хоррор-кукла в западной литературе и кинематографии?

Я думаю, что они возникли из глубочайшей проблематичности существования души у западного человека; приглядитесь к лицам русского и западного человека: когда смотришь очень внимательно в глаза русскому человеку, то как бы он ни хитрил, как бы ни вилял и как бы ни отводил взгляд, остается твердое ощущение, что, идя по этому взгляду, как по извилистому пути, вовнутрь иглы, рано или поздно придешь к его душе, в чем бы она ни заключалась; когда же смотришь в глаза западному человеку, то как бы искренне он ни смотрел на вас при этом, ощущение существования души, стоящей за его взглядом, не то что бы упраздняется за ненужностью, но остается под громадным вопросом.

И нельзя никоим образом сказать, недостаток это или достоинство, потому что вместо души открывается какая-то великая безграничная одухотворенная Пустота, которая любые наши возвышенные и прекрасные представления о душе с избытком компенсирует, – правда, из такой Пустоты может в виде исключения вытекать и хоррор; это не значит, что он на самом деле вытекает, просто – может вытекать и все; ведь Пустота – духовный источник поистине любых проявлений жизни, вот детский и кукольный хоррор оттуда и вышли: пока как возможности, но возможность есть ведь не что иное как особая форма реальности, и слава Богу, что она не достигла житейского уровня, – самолюбиво удовлетворившись вполне удавшимся художественным жанром.

Слепые люди. – Их лица по причине отсутствующего выражения глаз выглядят почти всегда для нас, зрячих, отчуждающе и безобразно, но при всем этом вызывают в нас все-таки безотчетные сочувствие и сострадание, причем столь интенсивного порядка, что слезы сами наворачиваются на глазах.

Иной раз приходится видеть несчастья неизмеримо большего масштаба, а глаза не плачут, в чем причина? причина, думается, в кратковременном исчезновении привычной иерархии в оценке вещей: ведь когда мы смотрим в глаза другому человеку, мы встречаемся – или думаем, что встречаемся – с его душой, а душа эта по самому своему определению настолько сложный и многогранный феномен, что мы вынуждены поневоле на него настраиваться и под его воздействием даже перестраиваться, то есть все наши психические чувства – коим нет числа, а еще пуще производным от них возможностям – никогда не выступают в своей исконной целостности, но как железные опилки в магнитном поле, в зависимости от контакта, выстраиваются в определенном и структурированном порядке.

И вот все это опускается во время наблюдения над слепым человеком, то есть вместо того чтобы отдаться сложнейшему конгломерату осмысления чужого страдания и своему отношению к нему – кто этот человек? каким образом постигло его горе? заслужил ли он его? не кармической ли оно природы? как он его переносит? могу ли я ему помочь? как он будет реагировать на мою помощь? нужна ли она ему? не притворяется ли он, желая моей помощи? не использует ли он меня? и так далее и тому подобное – итак, вместо всей этой невидимой, обременительной, мелочной и по большому счету унижительной работы, предшествующей практически любому акту альтруизма, в нас вдруг возникают сочувствие и сострадание в их чистом, незамутненном, исконном виде: как если бы вместо золотого песка, который нужно еще отмывать и отмывать, явился слиток золота.

Да, когда мы смотрим на слепую женщину, которая, чтобы прокормить своих кошек, выходит с собакой на улицу петь и даже пытается совершенствовать свое пение профессионально, – мы испытываем ощущение, будто наши сочувствие и сострадание к ней на мгновение отделились от всех прочих чувств, налились плотью и кровью и, точно наскоро выструганные папой Карло, выглянули боязливо из души: немного неуклюжие, неприспособленные для жизни, но вполне самостоятельные, то улыбчивые, то плачущие, а главное, монументальные в размерах.

И в этом есть что-то буддийское: так можно сочувствовать только существам из другого мира, так мы сочувствуем животным, так мы сочувствуем иным особенно полюбившимся литературным персонажам, – и если бы я во время греческого отпуска увидел где-нибудь в пещере истекающего кровью циклопа, которого бы заживо поедали муравьи и мухи, но который бы нашел в себе силы взглянуть на меня единственным своим глазом, то, я думаю, каким бы нечеловеческим ни был этот его предсмертный взгляд, я не сдержал бы слез.

Как и глядя на ту слепую женщину.

Центр и периферия. – Именно глаза и характерный их взгляд оправдывают зачастую дисгармонические и даже неприятные черты лица, более того, находясь под влиянием глаз и взгляда, мы не можем и не хотим представлять себе иное, более гармоничное и симпатичное лицо, и наоборот, ничто так не портит и без того неблагоприятные черты лица, как усталые и болезненные глаза.

Глаза показывают резервуар тонкой энергии в человеке, но главное – это то, что когда мы смотрим человеку в глаза, нам кажется, будто мы нащупываем его психологический и метафизический центр, и ничто так нас в этом не убеждает, как именно твердый, уверенный и характерный для данного человека взгляд, тогда как, напротив, взгляд бегающий и неуверенный в себе настораживает нас и предупреждает о том, что на такого человека положиться нельзя.

Однако все обстоит не так просто, опыт показывает, что как раз люди с твердым, характерным и уверенным взглядом, за которым должен скрываться, казалось бы, неизменный психологический и метафизический центр, на самом деле оказываются опаснейшими игроками, предателями и оборотнями; игроками – потому что в крупных играх, таких, как власть и деньги, нельзя иметь только одно лицо и один взгляд, это ведет к проигрышу, а значит, лицо и взгляд должны быть холодными и непроницаемыми; предателями – потому что верность одним людям и идеалам может войти в противоречие с интересами и даже просто внутренним развитием человека, и вот тогда он вдруг меняет идеалы и начинает служить другим целям и людям, зачастую такой переход имеет скрытый инкубационный период, ему лучше всего соответствует маска на лице, но не клоуновская, конечно, а с твердым лицом и уверенным взглядом; наконец, оборотнями – потому что в одном и том же человеке уживаются инстинкты и склонности настолько несовместимые между собой, что когда они проявляются в полной мере, мы имеем перед собой как будто двух разных людей.

Итак, все говорит о том, что в нас существует как бы несколько равноправных центров, но мы инстинктивно закрываем на это глаза и пытаемся свести их к единому понятному и обозримому центру, – кстати говоря, мастерское и правдоподобное воплощение произвольного множества таких несоприкасаемых взаимно персональных центров и есть главная черта великого актера, и мы где-то внутренне сродни им, но нам не хватает внешней выразительности, наше нутряное двойничество остается смазанным, а когда нечаянно проявляется, уголовные хроники кричат о самых чудовищных преступлениях.

И тем не менее, когда мы задумываемся о себе, нам кажется, что в нас есть некий психологический центр, из которого вытекают все наши чувства и поступки, каков он? прежде всего на ум приходит характер, который по Шопенгауэру неизменен, так, но разве можем мы

сказать заранее, как мы поведем себя в той или иной экстремальной ситуации? кроме того, наш характер меняется с возрастом, причем настолько радикально, что в зрелом человеке иной раз едва узнаешь прежнего юношу.

Затем идет пол, половая и теневая жизнь человека – вкупе с его эротическими фантазиями – настолько непохожа на его общественную и всем видимую, что лучше не искать в них единства: уже тайно мечтая о других женщинах, лежа в постели с женой, мужчина разрывает себя надвое, точно лопата дождевого червя, и никакие ухищрения философов не в состоянии упразднить эту исконную природную двойственность человека, – когда в семьях, живших на протяжении трех десятков лет «образцовой супружеской жизнью», разыгрываются трагедии и кошмарные сценарии масштаба Шекспира или Чикатило, это всего лишь верхушка айсберга, я думаю, что и каждый из нас, честно заглянув в себя, обнаружит в глубине души кое-какие мысли, намерения и фантазии, которые, если бы им суждено было в полный голос заявить о себе миру, разрушили бы то законченное представление, которое имеют о нас общество, друзья и близкие, а может быть и мы сами.

Однако, с другой стороны, я не знаю никого, кто так вот просто бы заявил о себе: да, во мне живут разные и несовместимые люди, каждый убежден, что, несмотря на потрясающую противоречивость натуры – которой все мы склонны гордиться и по праву: ведь чем противоречивей, тем мы глубже и интересней – в нас все-таки присутствует тайное и внутреннее единство, которое вполне может залегать на недоступной глубине, но оно есть, а если есть, до него можно дотянуться, то есть при желании мы всегда можем себя понять и объяснить, только почему-то на протяжении всей жизни мы как-то забываем это сделать, однако убеждение в возможности исчерпывающе познать себя остается, – и эта тайная уверенность в возможном раскрытии тайны и вместе как бы пожизненное неиспользование великой возможности даже лежат в основе нашего игрового восприятия жизни.

Как любое живое существо на земле, когда ему хорошо, затевает игру, так человек, подобно котенку, играющему со своим хвостом, играет с самим собой: то есть со своей заветной тайной, своей душой, своим богом и своими богами, своим бессмертием и своим полным уничтожением; да, человек играет и его игра зовется жизнью, но в то же время ничего серьезней этой игры нет и не может быть, и потому его игра всегда заканчивается одинаково, то есть смертью.

Короче говоря, там, где есть подлинная антиномия, там есть и условия экзистенциальной игры, а поскольку все в жизни глубоко антиномично и сама жизнь есть не что иное, как воплощенная, живая антиномия, – постольку игру можно смело считать главной и единственной философией жизни: вот одним из аспектов жизни как игры и является наше, можно сказать, врожденное убеждение в наличии психического центра при полной невозможности найти и зафиксировать, – это вместе и основная музыкальная тональность нашего восприятия мира.

В самом деле, с точки зрения новейших достижений физиологии мозга душа – как мифическое имя психического центра – только соприкасается с мозгом, но не живет в нем: как радио ловит разночастотные звуковые волны, но не воспроизводит их, так мозг быть может только отражает душевную жизнь человека, не создавая ее, – уже здесь мы наталкиваемся на неразрешимое противоречие, однако упорно пытаемся разрешить его и не допускаем мысли, что разрешение задачи в принципе невозможно.

Но это нас не останавливает: если решение проблемы не было найдено до сих пор, то это не значит, что его не существует, оно пока отсутствует, но мы ищем отсутствующее решение и будем искать его до скончания лет, – добавление, что мы его никогда не найдем, конечно, так и вертится на языке, и мы в глубине души согласны с ним, но от поисков своих не отказываемся, потому что не искать – значит перестать жить, а вместо этого только существовать, ибо жить – значит стремиться к последним границам и дальше.

Однако стремление само по себе, помимо цели и в чистом виде нас тоже не устраивает, цель же, причем любая цель, относительна, стало быть для души неудовлетворительна, – здесь опять неразрешимое противоречие, следствием которого становится то самое всепоглощающее и неустранимое ощущение загадочности мира, к которой мы рано или поздно, но неизбежно приходим в результате наших искренних поисков.

Итак, математически доказанная отсутствующая природы истины мгновенно делает наш мир изначально и неизбежно загадочным, – разве эта загадочность не компенсирует с избытком отсутствие последних истин? ведь как только мир становится в наших глазах вполне и во всех своих самых крошечных нюансах загадочным, тернистый путь познания прекращается, но до тех пор, пока эта загадочность остается громким и неубедительным сравнением, вместо того чтобы стать первичной психологической реальностью, нужно идти дальше, вот вам и вся мировая мудрость, а для уяснения ее два наглядных примера: все те же Пушкин и Лев Толстой.

Почему Пушкин невзлюбил Энгельгардта и Александра Первого, хотя добровольно преклонился перед его сыном-преемником? как мог он написать довольно пошлую эпиграмму на свою любимую героиню? не страшна ли и не поучительна хрестоматийная бездна между Пушкиным-поэтом и Пушкиным-человеком, досконально проанализированная В. В. Вересаевым? но и без этого: разве каждый из нас, безусловно восхищаясь «светлым гением» Пушкина, не ощущает некоей непроницаемой темной сердцевины в нем? но сделаем ли мы отсюда вывод, что в Пушкине жило несколько людей? нет, не сделаем, потому что это никуда не ведет, будем ли искать святое объединяющее начало всех известных нам пушкинских ликов? да, обязательно будем, но найдем ли его? вряд ли, – чего же тогда мы достигнем? как чего? разве понять и прочувствовать великое отсутствие человеческого центра, да еще на примере великого человека, не есть самое ценное духовное достижение?

Кстати, нигде иллюзорность человеческого Я не выявляется с такой очевидностью, как в художественном образе: образ есть как бы бесконечное приближение к некоему условному центру, который тем для нас конкретней и ощутимей, чем безусловней он отсутствует, – вот этот самый парадокс и лежит в основе творчества.

Романический персонаж точно так же не имеет центра, как и обыкновенный человек, но соотношение центра и периферии у вымышленных героев и живых людей совершенно разное: если в искусстве характер выписан в нескольких основных чертах и показываются только те ситуации и прочие действующие лица, которые с ними созвучны, то в жизни дело обстоит абсолютно противоположным образом: ситуации и взаимодействующие лица настолько необозримы, что наше Я в них просто тонет: не в том суть, что Я не существует, мы об этом никогда и не думаем, но стоит нам попытаться объяснить себе и другим, в чем же оно, наше Я состоит, как мы сталкиваемся с неимоверными трудностями.

В искусстве эта трудность, повторяем, искусно преодолевается выборочностью описываемого: то, что описывается, как бы изначально имеет центр (Я), а само описание подобно бросанию пучка света на мрак, то, что в свете, вполне нас убеждает, но при этом мы забываем о бездне мрака, окружающей световые пятна; таким образом, мрак – это все, что просто оказалось за строкой, а за строкой, как мы сами понимаем, оказывается девяносто девять и девять десятых жизни любого описываемого персонажа.

Попробуем представить себе, что делал герой до, после и в промежутках между описанными сценами – и мы будем потрясены бездонным черным пятном, зияющим в самом центре любого произведения искусства, но мы о нем почему-то не думаем и даже подчас не догадываемся о его существовании, – наслаждение от искусства как раз и зиждется на полном забвении «темной сердцевины» и одновременно на иллюзии «абсолютного света».

Эта иллюзия означает вот что: мы убеждены, что описываемый мастерским художником мир настолько самодовлеющий, закончен и осмыслен в себе, настолько он исключает

какие-либо неясности, недоразумения и противоречия, и настолько по отношению к нему не возникает у нас вопросов, которые мучают нас своей неразрешимостью, когда мы имеем дело с живыми людьми – все те же кардинальные вопросы о добре и зле, боге и смерти, совести и смысле жизни – что мы даже не задумываемся, что же все-таки происходит за пределами творчески воссозданной действительности.

А за ней буквально ничего не происходит, роман нас целиком и полностью убеждает, но со всем тем, что вне его, он ничего общего не имеет, – вот здесь уже мы имеем образец многомерной реальности: когда действительность нас захватывает целиком и полностью на какое-то время, а потом отпускает и перестает для нас существовать или же она может входить в нас и из нас выходить, и это для нас само собой разумеется, хотя, если взглянуть трезво и со стороны на положение вещей, оно может и должно свести с ума, – ведь получается, что мы шагаем из романа в роман, или из искусства в жизнь и наоборот, точно проходим из одной комнаты в другую, так что, получается, действительность является образной по самой своей природе, а искусство по существу не отличается от действительности.

Иными словами, любой из нас, желая приблизиться к «объективному» и космическому центру, лишь создает свой собственный центр и к нему постоянно приближается, а на прямой философский вопрос: есть ли центр? приходится ответить: и есть и не есть одновременно, – другого ответа нет и быть не может.

В самом деле, мы никогда не останавливаемся на постулате принципиального отсутствия Я, но всегда предлагаем то или иное решение вопроса, и если оно не вполне удовлетворительно для нас, мы утешаем себя скорым усовершенствованием решения, – и решение усовершенствуется, так или иначе, и все встает на свои места, а то, что наша точка зрения постоянно меняется, и параллельно существуют и меняются еще миллионы и миллионы других подобных точек зрения на один и тот же предмет, нас нисколько не смущает, мы считаем это нормальным.

А все потому, что архетип центра неистребимо заложен в нашем сознании, и мы его осуществляем – каждый на свой лад, поскольку же форма центра едина, а содержания различны, постольку возникает естественное противоречие: идя от собственной периферии к своему центру – путь этот называется внутренним развитием – мы не замечаем, что другие люди проделывают тот же самый путь, но приходят к совершенно другим результатам: отсюда все споры, все недоразумения, все конфликты и все войны, и наоборот, в осознании универсального параллелизма всех душевных координат состоит единый корень сближения между людьми.

Если я нахожу, принимаю и одобряю аналогию внутреннего развития между моими, мне хорошо понятными мотивами и поступками, и мотивами и поступками других людей, на первый взгляд для меня совершенно непонятных и ничего общего не имеющих с моими, тогда и только тогда есть возможность истинного нравственного примирения и сближения между нами.

Итак, художественный персонаж не имеет лица, если образ удался, мы зримо представляем его себе в том смысле, что заранее можем предсказать, как он поведет себя в той или иной ситуации, характер героя пластически (или музыкально, как у Достоевского) очерчен ясно: его не спутаешь ни с каким другим, если вещь экранизирована, мы безошибочно определяем, правильно ли подобран актер или не совсем правильно, довольно часто на месте актера, играющего знаменитого литературного героя, вообще нельзя представить никакого другого, – и тогда мы склонны утверждать: у персонажа лицо актера, но это не так – возвращаясь к литературному произведению и прямо сравнивая персонаж с актером, его играющим, мы все-таки вынуждены признать: да, в кино или в театре лучшего исполнителя нет и не может быть, однако, строго говоря, его лицо – это все-таки не лицо персонажа, просто потому, что последний не имеет лица.

Но как человек – ведь персонаж тоже человек – может не иметь лица? здесь тайна литературного творчества, которая проливает самый скрытый, но и самый пронизывающий свет на загадку человеческой сердцевины: мы живем и действуем так, как будто она есть – из нее исходят волевые наши побуждения, на них, как на нитку, нанизываются наши мысли, интуиции, чувства, слова, а из них уже выпестовывается наш характер, и как итог всего этого сложнейшего психического конгломерата высвечивается взгляд: но что он такое? если бы человек сохранял один-единственный характерный взгляд – который мы и сочли бы с полным правом самовыражением души – или если бы несколько самых характерных и разных наших взглядов мирно бы уживались между собой, не портя и не нарушая целостности характера... но так ли это на самом деле?

Наше лицо и наши глаза могут выражать сколь угодно несовместимые между собой психические побуждения и даже поступки – мы всегда будем искать спрятанное за ними «глубочайшее душевное или духовное единство»: и не только искать, но, как ни странно, неизменно находить его, а это значит, что центр, любой центр, в том числе и нашей личности, безусловно есть, но есть как черная дыра, куда невозможно проникнуть, и в то же время есть как самая обыкновенная периферийная повседневность, о которой не хочется даже задумываться по причине ее серости и незначительности.

И выражают этот центр в первую очередь наши глаза, взгляд которых, с одной стороны, как бы манифестирует психологический или душевный центр, а с другой, кардинально меняясь соответственно ситуации или настроению, тут же его упраздняет, – человеческий взгляд поэтому самым наглядным образом демонстрирует основное положение философии отсутствия: душа существует, но существует как иллюзия, и все-таки иллюзия есть единственный способ существования души, а кроме этого ничего нет, но что еще нам надо?

Философия общения с портретом. – Леонардо да Винчи как мыслитель был совершенен только с кистью в руке, Моцарт и Бах лишь сочиняя музыку, Лев Толстой и Кафка только в писаниях, Эйнштейн лишь размышляя над законами Вселенной, тогда как ни один мыслитель в чистом виде, не исключая Шопенгауэра, не был совершенен именно как мыслитель, – вот любопытное подтверждение замечанию Канта о плодотворности опоры чистого разума на сферу опыта, и здесь же объяснение тому очевидному и все-таки очень странному обстоятельству, почему нас так непреодолимо раздражают портреты великих людей и так радуют их зарисовки как бы случайно и со стороны.

Дело, наверное, в том, что взгляд вовне или вовнутрь великого человека, не встречающий сопротивления, подобно снежному кому, пущенному с горы, склонен обрастать невероятным величием и значительностью, даже если он старается оставаться скромным, но тот же самый взгляд, обращенный на малые и повседневные вещи мира сего, почти уже не отличается от взгляда любого простого смертного... точно ли совсем не отличается? вот если бы в сложнейшую компьютерную программу задать творчество гения и предложить два портрета: один его собственный, а другой принадлежащий постороннему, но с одухотворенным лицом, способен ли будет компьютер отличить оригинал от подделки? ведь как часто носителями подлинно великого являются сравнительно невзрачные люди! и наоборот, необыкновенно выразительные лица нередко вовсе лишены творческих задатков! но что же из этого вытекает? для начала то, что дух и материя сопряжены столь тесно, что, очевидно, не могут существовать друг без друга: однако попробуйте определить закономерности их сопряжения! вот взгляд, подобно зеркалу, и отражает как некоторую бездуховность «чистого духа», так и непостижимую одухотворенность материи.

С другой стороны, когда некто из наших знакомых, а тем более близких болен неизлечимой болезнью, то есть практически обречен, и часы его или дни буквальной образом сочтены, тогда как песок в наших песочных часах еще сыплется и сыплется, убаюкивая

нас и дальше сладкой неопределенностью смертного часа, – да, в эти моменты мы искренне сочувствуем умирающим и одновременно невольно радуемся тому, что нам еще «жить и жить», – но как только эти люди ушли в мир иной, в нас тотчас поселяется довольно странное, неотвязчивое и, я бы сказал, вещное ощущение, что вот, мол, они главное дело жизни сделали и сделали, кажется, хорошо, а нам все это еще предстоит, и неизвестно, справимся ли мы с ним или все получится скомкано и кое-как.

И тогда какая-то непостижимая добрая зависть к ушедшим навсегда закрадывается в душу и уже ее отныне не покидает: мы, с одной стороны, завидуем умершим, но и от нашего положения еще живущих тоже не отрекаемся: во-первых, потому, что оно также представляет кое-какие выгоды, а во-вторых, потому, что умереть мы все равно успеем, однако, с другой стороны, неотвратимость смертного часа и смутное, но твердое сознание, что в конечном счете речь идет только о том, чтобы «хорошо умереть» и больше ни о чем, продолжают делать свое «черное дело», – то есть вводить в душу еще большую неопределенность.

Строго говоря, если бы мы с феноменальной легкостью не умудрялись находить для себя те или иные «смыслы жизни», которые мы обустроиваем поистине как дома – если дальше материального уровня мы не пошли – или как ладьи – если мы поверили в бессмертие души и пытаемся оснастить ее для посмертного плаванья наилучшими мыслями и побуждениями – то наше так называемое «внутреннее развитие» должно было бы состоять только в увеличении вышеназванной неопределенности в прогрессии либо математической, либо даже геометрической, – в полном согласии с великолепным советом Пикассо, что людям прежде всего следует учиться находить уют и спокойствие в самой изначальной стихии полнейшего неюта и беспокойства жизни.

И вот тогда, бросая спонтанный взгляд на какой-нибудь портрет давным-давно отошедшей в «мир иной» знаменитости, которая «заставила себя уважать и лучше выдумать не могла», мы чувствуем подтверждение вышеприведенного хода наших мыслей, и вместе всю глубочайшую ложность концепции опоры на великих мира сего, на их славу и вообще на вековечное стремление человека оставить после себя след: по той простой причине, что все эти люди, сумевшие оптимально оправдать свое пребывание на «этом месте и в это время», и тем самым невольно подталкивая нас следовать за ними, упраздняют или по крайней мере пытаются упразднить ту великую неопределенность, на которой, как на ките, стоит человеческая жизнь, – и все более ясное осознание которой является единственной задачей нашего душевного созревания.

Поэтому совсем не лишнее было бы, метнув на знаменитость в рамке полный скрытого упрека взгляд – зачем, мол, ты по причине своего веса пытаешься говорить за нас? – еще и коротко погрозить ей пальцем, ни в коем случае, однако, не «дрожа от злобы», как это сделал незадачливый пушкинский Евгений, чем и навлек на себя справедливый гнев Медного Всадника.

В противном же случае, если совсем не оказывать портрету великого человека некоторое сопротивление, он начнет приобретать над нами определенную магическую силу, вовлекая в орбиту собственного сюжета и отвлекая нас от нашего и кровного, что в общем-то крайне нежелательно.

Важный нюанс. – Есть некая тонкая разница между фотографией или портретом, обведенными траурной каймой, и ими же без каймы, – просто поразительно, какими разными глазами мы на них смотрим, сами быть может того не замечая: ведь когда человек умирает, сам он и все его деяния, казавшиеся прежде в каком-то смысле обязательными и незаменимыми для нас, живущих, становятся вдруг такими, что без них вполне можно обойтись (то есть хорошо, конечно, к ним обратиться и даже ничего нет важнее обращения к ним именно теперь, когда они вследствие смерти обрели как бы статус бессмертия, но это уже как

посещение церкви – для души вроде бы самое насущное дело и в то же время самое неважное в контексте повседневной жизни), а вот пока человек был жив, такой подход казался немыслимым (не узнать, что сказал или сделал тот или иной влиятельный и знаменитый человек значило либо безнадежно и сознательно отставать от времени, либо уныло и упрямо демонстрировать собственную зависть или ревность к нему): опять-таки всего лишь элементарный урок на тему понимания глубочайшей значимости всего происходящего и вместе параллельного осознания того, что мир этот не стоит выеденного яйца, – поистине, даже в школе сначала идет усвоение законов сложения и умножения, а потом законов вычитания и деления, – но кто осмелится утверждать, что первые важнее вторых?

Поэтому вполне логично, что когда мы прикасаемся к творениям истинных классиков, тех, кто жил десятки или сотни лет назад, названный эффект предельной важности ими созданного искусства и одновременно предельной же его необязательности достигает своего апогея: в самом деле, каждый, думаю, подтвердит на собственном опыте, что ничего нет более великого, нежели приобщиться хотя бы на минуту к этим практически единственно несомненным для нас экспонатам «живой вечности», и в то же время подобное приобщение не играет абсолютно никакой роли ни для нашей личной жизни, ни для успешного и плодотворного участия в жизни общества, ни тем более для устремления к жизни высшей и религиозной.

Мысленный разговор с самим собой обыкновенного любителя живописи перед иным мастерским портретом. – «Почему я не могу оторвать от него глаз?». – «Не знаю». – «Верю ли я в его буквальную жизнь?». – «Нет». – «Считаю ли, что художник его только выдумал?». – «Тоже нет». – «Хочу ли я войти в реальное общение с портретом?». – «Пожалуй, нет». – «Желаю ли раз и навсегда исключить такой фантастический контакт?». – «Скорее всего нет». – «Допускаю ли я душевное, духовное или иное существование портрета в какой-нибудь потусторонней или просто недоступной мне реальности?». – «Вряд ли». – «Исключаю ли я его категорически?». – «Ничего подобного». – «Приглядываясь внимательно к портрету, не нахожу ли я в нем свойств, скрытых во мне самом?». – «Как будто нет». – «Полностью ли я уверен в моем отрицании?». – «Ни в коей мере». – «Хочу ли я полностью или частично войти теперь или же после моей смерти в измерение портрета?». – «Не хочу». – «Вполне ли я уверен в этом моем желании?». – «Не вполне». – «Отражает ли портрет тайну жизни?». – «Не думаю», – «Значит, он не имеет к ней никакого отношения?», – «Не могу сказать», – и так далее и тому подобное.

А вот та тихая и неуловимая определенность, что притаилась, как тень, между разного рода и в целом куда более отчетливыми неопределенностями, – оно и есть, пожалуй, душа как портрета, так и тех, кто замер перед ним в созерцании, то есть нас самих: или, другими словами, никакой живой человек не может смотреть на нас так, как смотрят на нас с полотен самые удавшиеся портреты, но нельзя утверждать и того, что портрет в точности отражает ушедших из жизни людей, – так кто же тогда герой портрета?

Последний урок литературы. – Когда я смотрю на классические портреты Пушкина и Лермонтова, а они всегда одни и те же во всех официальных учреждениях: от средней российской школы до мюнхенской Толстовской библиотеки, всегда висят по соседству, всегда хрестоматийно-поучительны и всегда призваны продемонстрировать убийственную унылость отечественного преподавания литературы, – так вот, всякий раз, глядя на них, я вспоминаю ясновидящую фрау Кирхгоф: ту самую, у которой не однажды бывал Пушкин и один раз Лермонтов, и которая предсказала Пушкину любовь и славу народную, скорое получение денег и продвижение по службе, две ссылки, фатальную женитьбу, а самое главное, опас-

ность от белой лошади, белой головы и белого человека (портрет Дантеса верхом), – Лермонтову же она предсказала одну только скорую неизбежную смерть.

Это были два классических предопределения, мало чем отличавшихся от знаменитых литературных предопределений из «Песни о вешем Олеге», «Фаталиста» или первой главы «Мастера и Маргариты», где получивший предсказание герой делал все, чтобы избежать его, но кармический приговор настигал его с другой и неожиданной стороны: таков композиционный стержень жанра предсказания как такового.

Итак, фрау Кирхгоф ясно предостерегла обоих поэтов, и когда из туманного будущего начали проступать четкие образы их убийц: «белого человека с белой головой на белом коне» для Пушкина и «человека, не умеющего стрелять» для Лермонтова, оба поэта, помнивших о предсказании, должны были догадываться, что близится их последний час, однако они не только с готовностью, но даже с некоторым усердием, если не сказать: со страстью пошли ему навстречу: Пушкин – чтобы испытать судьбу, Лермонтов – тоже, но заодно и покончить с жизнью.

Недаром госпожа Кирхгоф допустила в случае Пушкина возможность долгой жизни, если он не погибнет на тридцать седьмом году, тогда как для Лермонтова никакой альтернативы не существовало.

Почему? да потому что Пушкин совсем не так искал смерть, как Лермонтов, и жизнь любил иначе, нежели Лермонтов, но в обоих случаях, получив предсказания, оба поэта сделали все, чтобы его осуществить: Лермонтов с фаталистической готовностью отправился на дуэль, сделав со своей стороны все, чтобы она оказалась смертельной (неоднократные провокации противника, а также выстрел в воздух), Пушкин же не только не стрелял в воздух, но, будучи уже смертельно ранен, приподнялся и, укусив снег, сделал ответный прицельный выстрел: точь-в-точь как Долохов при дуэли с Пьером Безуховым, так что один шел на смерть, но, в случае победы на дуэли, был готов жить дальше, а другой, если и готов был дальше жить, то только для того, чтобы снова и снова испытывать жизнь в ее, пожалуй, самой таинственной конфигурации со смертью: конфигурации предопределения.

Это ясно читается в портретных лицах и в первую очередь взглядах Пушкина и Лермонтова, – и весь вопрос только в том, догадались ли бы мы о таком прочтении, если бы не знали о финале их жизней, или не догадались.

Предопределение. – В лермонтовском «Фаталисте» высказывается предположение, что судьба человека, написанная на небесах, читается также в его глазах, вот этот замечательный абзац.

«В эту минуту он (Вулич) приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я (Печорин) пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его улыбнулись. Но несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал печать смерти на бледном лице его: я замечал, и многие старые воины подтверждали мое замечание, что часто на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы, так что привычным глазам трудно ошибиться».

Полное подтверждение правоты Лермонтова мы видим в портрете инфанта Филипе Проспера работы Веласкеса 1659 года: там изображен двухлетний мальчик из королевской семьи, он в парадном костюме, все в нем исполнено аристократического достоинства, мальчик опирается на спинку стула, лицо его бледное, а глаза большие и меланхолические, – и в них читается тот самый «странный отпечаток неизбежной судьбы», в котором «привычным глазам трудно ошибиться».

Этот ребенок действительно умер через два года, а его художник через год; зафиксировано также, что о скорой и неизбежной смерти портретируемого инфанта высказывались

люди, не знавшие его биографии, – так что можно в этой связи говорить о посланце или ангеле Смерти, предвещающих ее приход, но можно ограничиться и замечанием, что само выражение глаз выполняет иногда ангельскую функцию, отводя тем самым реальное существование ангелов в привычную для них область мифологии.

О пользе строительных лесов. – Посещая мюнхенскую Старую Пинакотеку, я всегда задерживаюсь перед работой Ван Дейка, изображающей фламандского художника Теодора Ромбо с его женой Анной ван Тилен и дочерью Марией.

Мушкетерское лицо живописца, умный взгляд и обаятельная самоуверенность, сквозящая и в позе и во всем облике, не только не отталкивают зрителя от портретируемого, но располагают к нему и настраивают на открытый диалог: Теодор Ромбо ищет контакта с анонимным наблюдателем, уверенно его находит, и мы остаемся убеждены, что в этом постоянном, искрометном и, можно сказать, первозданном общении состоит суть характера приятеля и коллеги Ван Дейка.

Совсем другое дело его жена Анна: от нее буквально невозможно оторвать глаз и в невольном соперничестве с мужем за внимание созерцающих она одерживает полную и безусловную победу, но каким образом эта обыкновенная на первый взгляд и скорее даже непривлекательная женщина умудряется приворожить к себе зрителя, остается тайной.

Думается, секрет ее притягательности заключается в ее взгляде, впечатление от него довольно сложное, и иначе, как посредством сравнения, это впечатление описать невозможно.

Так вот, выражение ее взгляда таково, будто мы, зрители, подглядываем за Анной в замочную скважину и видим ее обнаженной, она же точно знает, что мы за нею подглядываем, но глазами даже не упрекает нас, а как бы обращается к нашей совести, спрашивая, совместимо ли такое наблюдение с чувством собственного достоинства: не столько ее собственного, сколько нашего, – мы, таким образом, чувствуем себя вуайерами, не являясь таковыми.

И в этом главное своеобразие взгляда Анны, – а теперь остается только убрать вспомогательные леса: замочную скважину и обнаженность модели.

Автопортрет Дюрера 1500 года. – Поза, пропорции лица, волосы и некое непередаваемое величие во всем облике сразу напоминают Иисуса Христа, независимо даже от симметрии композиции, подчеркнута темного колорита красок, поворота анфас и правой руки, поднятой к середине груди как бы в жесте благословения, о которых говорят историки искусства.

В сущности, если настроиться на ставшую модной в наше время идею Страшного Суда как итогового самосознания умершего человека, как ясное узрение в астрале собственных ошибок и прегрешений, как вообще заключительную оценку прожитой жизни в плане использования или неиспользования данных тебе возможностей, – и все это без угроз и насилия со стороны астральных воинств, но на основании собственной глубочайшей внутренней потребности, – да, в таком плане знаменитый автопортрет Дюрера мог бы трактоваться в качестве любопытной и чрезвычайно оригинальной манифестации судящего Христа: жаль только, что художник никоим образом не намекнул на возможность подобной интерпретации.

Но есть и другой важный аспект его автопортрета, присмотримся к нему поближе: правый глаз модели смотрит мимо зрителя, а левый прямо в него, однако, внимательно приглядевшись к правому глазу и переведя взгляд на левый, кажется уже, что и левый глаз глядит мимо зрителя, вместе с тем, после секундной паузы, заново попытавшись войти в портрет,

создается прямо обратное впечатление: будто левый глаз смотрит на наблюдающего, а вслед за ним и правый.

Так создается элементарная магия портрета, жидущаяся на его изначальной психологической неопределенности, и в основе ее лежит эффект зеркала: в самом деле, когда мы всматриваемся в собственное зеркальное отражение настолько внимательно, что весь посторонний комнатный аксессуар перестаем замечать и более того, концентрируясь на глазах, перестаем постепенно видеть даже прочие партии лица, – нам начинает казаться, что из зеркала на нас выдвигается посторонний человек, пусть бесконечно знакомый, но все-таки в каком-то неуловимом, но очень важном нюансе также и совершенно чужой.

И вот если бы этот двойник не возникал в результате малых, но непрестанных творческих наших усилий, если бы он не исчезал, когда последние прекращаются, если бы он не являлся плодом нашего внимательного созерцания в зеркале, то есть если бы он вдруг оказался вполне независимым от нас, – это означало бы по сути прямое вступление в жизнь хоррора: действительно, здесь в визуально-физиологическом плане мы имеем генезис феномена двойничества, – не даром Э. По, О. Уайльд, Р.-Л. Стивенсон, Гоголь и Достоевский, а вслед за ними жанр хоррора в лучших своих образцах показали, что названный феномен принадлежит к краугольным столпам человеческой культуры, философии и психологии.

В автопортрете Альбрехта Дюрера мы видим упомянутый генезис на молекулярно-клеточном, так сказать, уровне: художник смотрит как будто в зеркало, а из невидимой прозрачной среды в него тоже всматривается таинственный двойник, и если не пытаться конкретно охарактеризовать двойника – что неизбежно поведет к огрублению темы – но оставить все на уровне взаимного и первозданного, так сказать, созерцания, то это и будет, пожалуй, главным, хотя и чрезвычайно трудно поддающимся описанию впечатлением от дюреровского шедевра.

Какой был взгляд у воскресшего Иисуса? – Если, во-первых, жизнь и бытие подобны верхнему и нижнему конусу песочных часов, если, во-вторых, песок, то есть жизненная энергия, постепенно и непрерывно пересыпается из верхнего отсека в нижний и жизнь таким образом переходит в бытие, так что бытие следует понимать двойственно: и как прожитую жизнь и как ее самосознание, и если, в-третьих, жизнь отлагается в памяти, но зафиксировать все события жизни, не говоря уже обо всех переживаниях и мыслях, невозможно, да и память с годами ослабевает, – то в таком случае бытие, понятое как проживаемая и проживающая жизнь в целом, а также как суммарное самосознание человека, есть всего лишь образ и как таковой неподвластен никаким измерениям, недоступен разуму и органам восприятия и все же абсолютно реален, но его реальность именно образного, то есть художественного порядка.

Тогда что же, собственно, происходит с итоговым или предсмертным самосознанием? оно, судя по всему, уходит в смерть, проходит сквозь игольное ушко смерти в качестве ментального тела, а далее, как утверждают тибетские буддисты, оно, все еще располагающее ментальной квинтэссенцией земных чувств, усиленных всемеро, оглядывает мысленно свершившуюся жизнь, – и что же оно видит?

Оно видит, во-первых, что прежде было человеком и человек этот был незакончен и не сказал еще последнего слова о себе; оно видит, во-вторых, что ситуация существенно изменилась после смерти человека; оно видит, в-третьих, что своей кончиной человек как бы искупил «первородный грех», хотя не обязательно в библейском смысле; оно видит, в-четвертых, что субстанция человека из жизненной и житейской сделалась бытийственной и образной; оно видит, в-пятых, что умерший в самом буквальном смысле сделался образом самого себя, живого и прежнего, и о нем нельзя теперь сказать, где он, что он, как он и сколько его, оно видит, в-шестых, что умерший не подлежит никаким измерениям, и что он

настолько по ту сторону каких бы то ни было человеческих мерок и критериев, что, проживи он дольше и добейся больше, он существенно ничего бы не выиграл, а проживи меньше, ничего бы экзистенциально не проиграл; и оно видит, в-седьмых, что со смертью человек стал полнотой собственных возрастов, не потеряв ни йоты от своего персонального существования и в то же время не будучи в состоянии и йотой его практически воспользоваться, — и так было, есть и будет со всеми людьми, а не только с ним одним.

Так как же должно смотреть сознание человека, умудрившееся пройти сквозь игольное ушко смерти, на эту свою прежнюю жизнь, в которую оно не может снова войти, и к которой не в силах даже прикоснуться, которую бесполезно осуждать, и из которой нельзя сделать никаких полезных выводов, потому что все неизбежно повторится с незначительными вариациями, с которой нельзя отождествиться и без которой невозможно существование самого сознания?

Мне кажется, вполне можно себе представить, что такое Сознание смотрит на жизнь с тем невероятно subtilным и поистине неземным удивлением и в то же время с той нежной, целомудренной, материнской бережностью, каковые мы ясно читаем в лице воскресшего Иисуса работы Рембрандта 1661 года.

Опасность игры «не от мира сего». — Есть актеры, во взглядах которых сквозит нечто «не от мира сего», — быть может, это наиболее интересные мастера своей профессии, на Западе их не больше десятка, в русскоязычном пространстве, впрочем, о таких актерах приходится говорить в единственном числе: это, конечно, наш незабвенный Иннокентий Смоктуновский.

Среди публики и критики у него статус «небожителя», однако коллеги из Ленинградского БДТ, где он играл якобы лучшую роль в своей жизни — князя Мышкина по «Идиоту» Достоевского — относились к нему, как он сам признавался, почему-то с раздражением и даже враждебно, неужели одна только недоброжелательная зависть? или, может, рвущийся из души крик о том, что «король-то — голый»? как это понимать? только так, что Смоктуновский не был с ног до головы гениальным актером — как, например, Евгений Евстигнеев — но у него имелась гениальная струнка, одна-единственная, — на ней-то он и въехал в лицедейское бессмертие.

Гамлет, кн. Мышкин, Порфирий Петрович — да, это на самом высоком уровне, тут и спорить не о чем, но все эти три роли, каждая по-своему, были музыкально озвучены той самой единственной заветной стрункой, для прочих ролей требовались иные лады и тембры, не знаю, были ли они у Смоктуновского, может, и были, а может, и ничего больше не было, — но он настолько оказался заворочен собственной — действительно, уникальной на фоне тогдашнего российского театра и кино — манерой игры, что, очевидно, незаметно для себя приобрел черты монументальной и маниакальной самоуверенности, которая и стала, подобно двойнику, всегда и везде сопровождать его игру, — отсюда то очень тонкое и все-таки очень дурное «заигрывание» со своей ролью, кокетничанье с ней и как бы подтрунивающее наблюдение над ней в зеркале и подмигивание ей: «как же бесподобно я тебя играю!» по моему, не заметить этого нельзя — тем удивительней, что, насколько мне известно, никто до сих пор не осмелился высказаться публично на этот счет.

Мне этот феномен очень напоминает критику Львом Толстым Шекспира и особенно его блестящий разбор «Короля Лира»: вообще, Толстой обладал безукоризненным художественным вкусом и именно по этой причине в качестве математического доказательства ущербности Шекспира как художника выбрал не «Макбета», не «Отелло», не «Ромео и Джульетту», и даже не «Гамлета», а именно «Короля Лира», где, действительно, бессмысленной тарабарщины, но обязательно с претензией на абсолютную гениальность, не счесть.

Феномен Смоктуновского, оставляя в стороне вопрос о масштабе, напоминает отчасти феномен Шекспира: и там, и здесь – моменты гениальности, достигающие границ человеческого духа как такового, но там же и здесь – следующие за этой гениальностью, как тень, непостижимые провалы в искусственную риторику, полное несоответствие слова, жеста и поступка ситуации, невероятная и ничем не оправданная вычурность и преувеличенность диалогической канвы, и как следствие, самоуничтожение крупными мазками намеченного характера без того, чтобы на месте геростратовского деяния осталась хотя бы чистая музыка потустороннего, как это имело место в виде исключения в «Гамлете».

Опять-таки, Лев Толстой это почувствовал – и оставил «Гамлета» в покое, вообще, наш великий старик никогда ни в чем главном не ошибался, и если бы он увидел игру Смоктуновского, он высказался бы о ней в том же духе: как о гениальной, но с досадными и действующими на нервы провалами, – такова именно ее тональность в двух словах.

Наверное, Смоктуновский сыграл Гамлета лучше всех, превзойдя даже великого Лоуренса Оливье, но я почему-то убежден, что были и есть артисты (западные), которые, возмись они за эту роль, не уступили бы Смоктуновскому, то же самое я сказал бы и о роли кн. Мышкина; и разве лишь насчет Порфирия Петровича очевидно, что сыграть его мог и должен был во всем мире один Смоктуновский, высочайший комплимент для актера: как для Вронского есть один Вас. Лановой, для Анны Карениной одна Татьяна Самойлова, для кн. Андрея один Вяч. Тихонов, для Майкла Корлеоне один Аль Пачино, – и так далее и тому подобное.

Что же касается прочих ролей Смоктуновского в русском кино – от «Берегись автомобиля» до «Очей черных» и дальше – то это, как хотите, сплошное недоразумение: потому что ни Шекспир, ни Достоевский не смогли органически вписаться в нашу российскую действительность, а ведь актерская натура Смоктуновского, как стакан водой, была занята до краев только ими двумя.

И быть может бессознательной реакцией актера на эту ограниченность своего сценического репертуара, реакцией на отсутствие или недоработанность любых других струн, кроме той самой единственной и гениальной, реакцией на собственную внутреннюю некритическую удовлетворенность от того, что он нашел и воплотил то самое – «единое на потребу», – да, быть может, неосознанной физиогномической реакцией на все это и стала та мастерски запрятанная и все-таки для всех очевидная, равным образом натуральная и все же глубоко наигранная, искренно снисходительная и вместе вызывающе высокомерная нота во взгляде Иннокентия Смоктуновского, нота, которая с удовольствием прощается зрителем, пока актер остается на высоте, но начинает невыносимо раздражать, как только он по тем или иным причинам эту высоту теряет.

Ведь общее правило гласит: чем выше восхождение, тем болезненней падение, и чем гениальней взгляд актера, тем меньше он терпит искусственность как следствие самовозвышения и ненужной игры с собой, – только излишняя, сидящая в крови нашего русского брата театральность испортила гений Смоктуновского, но не это даже страшно: страшно то, что никто этого не заметил.

«Мне отмщение и аз воздам». – Иные актеры сумели сыграть свою роль так, что исполнение ее другим актером попросту непредставимо: таких ролей в мировом кино не так уж много, гораздо чаще мы имеем ситуацию, когда даже наилучшим образом сыгранная роль допускает возможности собственного обогащения или интересной вариации, если будет сыграна альтернативным и равным по мастерству актером.

В этой связи мне прежде всего приходит на память образ дона Корлеоне из «Крестного отца», его сыграл Марлон Брандо, и сыграл так, что иного Корлеоне нам трудно представить, но все-таки он есть, и это, конечно, Лоуренс Оливье, которому еще прежде была предложена

роль крестного отца, но он вынужден был от нее отказаться, поскольку был занят в другом фильме; по большому счету Брандо органичнее вписывается в роль, нежели Оливье, но не подлежит сомнению, что английский актер внес бы туда такие нюансы, что у нас бы голова пошла кругом, – да, Лоуренс Оливье на такое способен.

А вот на роль Майкла Корлеоне никакой другой актер, кроме как Аль Пачино, даже близко не пригоден, и это, хочешь не хочешь, абсолютная вершина в аспекте исполнения данной именно роли, – так вот наша Татьяна Самойлова, играя Анну Каренину, должна быть поставлена рядом с Аль Пачино: наивысшая награда, неизмеримо превосходящая любого Оскара.

Лев Толстой недаром поставил эпитафией слова из Евангелия: в романе речь идет о женщине, которая изменила мужу по любви и наказала себя, бросившись под поезд, – здесь глубочайшая метафизика самоубийства, состоящая в том, что человек судит себя за мелочь и что любой другой человек ему его грех простит, и Бог простит, но он сам себе его не прощает – и наказывает себя; плюс к тому автор судит свою героиню еще и за талантливую преизбыточность жизненной энергии, которая, согласно Шопенгауэру, не может не источать из себя греховность, как не может не благоухать цветок.

Действительно, Анна Каренина без преувеличений самый сложный женский образ в мировой литературе, в нем, как в глубоководной реке, множество подспудных течений, роман звучит как баховская полифония, причем внешний драматизм сведен до минимума, кроме того, над «Анной Карениной» веет подлинный дух эллинской трагедии, – иначе как объяснить вещие и одновременные сны Анны и Вронского, вещее предчувствие Анны, вещее предзнаменование ее гибели на железной дороге?

Нельзя также не отметить бесчисленные психологические нюансы высочайшей художественной пробы, как, например. – Анна изумительная мать, но такая ли она любящая мать, как Долли и Кити? Долли заметила фальшь во всем семейном складе Карениных: как вообще могла Анна Облонская с ее искренностью и талантливостью до такой степени не по любви выйти замуж и жить с мужем как ни в чем ни бывало? Анна невинно кокетничает с Левиным и умышленно жалит Кити одной лишь возможностью своего женского обаяния на ее мужа! Анна мстит не только себе, но и своему любовнику, она подсознательно желает забрать Вронского с собой: ведь он ее смерть никогда себе не простит и не забудет, так сможет ли он сойтись с другой женщиной? и так далее и тому подобное.

Чтобы сопрячь воедино все эти разнородные мотивы, надобна чрезвычайно многострунная тональность образа, – здесь и некая теневая, странная, упрямая иррациональность в сердцевине характера Анны, здесь и subtilный демонизм, склонный идти одновременно в двух противоположных направлениях, здесь и желание причинить боль себе и ближнему, здесь и вызов обществу, – иными словами, в великолепную и роскошную симфонию образа Анны вставлена тайная мелодия Настасьи Филипповны.

И вот эта самая темная, глубинная, грациозная, великолепная, обаятельная, и по-женски и по-человечески щедрая, непредсказуемо-свободная, слышащая поступь рока, с которым она в тайном родстве, и тем не менее только слегка, как у Моцарта, демоническая, – да, вот эта самая иррациональность всегда и в любой сцене сквозит во взгляде Татьяны Самойловой: поэтому она и оказалась поистине единственной актрисой, способной адекватно сыграть образ Анны Карениной, а неадекватно сыграть ее могут сотни других актрис.

Находки экранизации. – Иной незабываемый актерский взгляд способен пролить неожиданный свет на роль, которую исполняет этот актер, а через роль и на саму вещь, в которой играет данная роль, и если вещь эта не просто какой-нибудь увлекательный фильм, а экранизация самого Гомера, то удачно найденный взгляд того удачного актера можно поставить на одну ступень с сотней томов исследований, пытающихся пробраться

к сути одного из самых великих и загадочных классиков и, что еще труднее, показать нам, «простым смертным», в чем эта суть состоит.

Потому как, если по-честному: кто в наше время читает Гомера? и много ли было людей на земле, которые от корки до корки прочитали оба его эпоса? и что от того, что они их прочитали? поверили они в эллинских богов? почувствовали ли они их незримое присутствие даже во время современных греческих отпусков? а что, если тяжесть слога и стиля и обилие чужеродных деталей настолько отпугнули и продолжают отпугивать случайных и отчаянных читателей Гомера, что им уже не до богов и до бессмертных героев?

Вот тут-то и приходят на помощь современные мастерские экранизации великого классика, но они должны быть именно современными и именно мастерскими, их задача до смешного малая и вместе до умопомрачения огромная: всего лишь заставить поверить нынешнего зрителя в реальное существование древних богов и героев, а кроме этого ничего не нужно, вселение такой веры в нашем «компьютерном до мозга костей» сознании есть, казалось бы, психологически акт немыслимый и невозможный, но если он удастся, то становится источником самого настоящего эстетического наслаждения.

Что же до гомеровских поэм, то они в этом сложном деле возрождения древнего искусства играют роль, аналогичную тому пресловутому неподъемному камню, который всемогущий бог создал: но может ли он сам его поднять? то есть в художественном пространстве «Илиады» и «Одиссеи» мы душой и сердцем верим в реальное существование эллинских богов, однако выйдя за его пределы, мы можем в них и усомниться.

И то обстоятельство, что кино стало настоящим посредником между исчезнувшими культурами и нынешним коллективным сознанием, не должно нас смущать: в конце концов это единственное, в чем наш незабвенный Владимир Ильич оказался прав, – но разве это так уж плохо?

Итак, «Одиссея» в экранизации Андрея Кончаловского и «Илиада» в экранизации Петерсена под названием «Троя», в чем основная разница между ними? именно в отношении к эллинским богам: если Кончаловский уравнивает богов и людей в своем творческом решении, то Петерсон начисто изгоняет богов из своей концепции, художественный результат у обоих режиссеров приблизительно одинаковый и очень высокий, но ведь для самого Гомера боги одинаково важны как в «Одиссее», так и в «Илиаде», – как же это понимать?

А вот так, что в эпосе об Одиссеевых странствиях боги как будто оказались более надышанными лукавством, волшебством и почти человеческим очарованием, тогда как в эпосе о войне ничего, кроме ревности, воинственности и властолюбия, мы о богах не узнаем, то есть в «Илиаде» сравнительно с «Одиссеей» боги из-под пера самого Гомера вышли в какой-то мере несколько более плоскими и односторонними, поэтому-то, наверное, без них и оказалось возможным спустя две с половиной тысячи лет вовсе обойтись.

И вот, перечитывая наугад неизменно таинственные страницы обоих эпосов – такими они останутся для людей навсегда – я с удивлением удостоверяюсь в том, что боги «Одиссеи» и в самом деле как будто обаятельней и по-человечески ближе богов «Илиады», о них интересней читать, и на них любовней и охотней останавливаешься бездумным внутренним взором, когда книга отложена в сторону и душа скользит по прочитанному – но еще больше и глубже по непрочитанному – подобно лермонтовскому «парусу одинокому».

Но чей же это взгляд помог совершить сие столь малое и вместе столь великое открытие? у кого в глазах сияло столько неподдельного волшебства, надышанного лукавства и любовного очарования, что обладательницу его хочется назвать еще и Музой экранизации? догадаться нетрудно, это исполнительница роли богини Афины в фильме Андрея Кончаловского – Изабелла Росселини.

Два взгляда. – Допустимо принять хотя бы в качестве гипотезы, что в общем и целом англо-американское кино относится к франко-итальянскому, как хорошая проза относится к хорошей поэзии, и как в прозе каждый жест, каждое слово и каждый взгляд, несмотря на свою индивидуальную выразительность, имеют еще и композиционное значение, и лишь потом и по мере участия в общем замысле разыгрывают собственное игровое пространство, так в поэзии дело обстоит как раз наоборот, и поэт обычно рассказывает о своем внутреннем мире, потому что кроме этого ему сказать нечего, – вот и французам как бы нечего рассказать зрителю по сути, а то, что они рассказывают, имеет целью эмоционально растрогать зрителя, – так что, в сущности, французские фильмы обращены либо к юному зрителю, который еще не знает жизни, либо к зрителю пожилому, который все уже знает, а от кино ждет кратковременного забвения от проблем жизни, либо – и это самый худший вариант – к зрителю поверхностному, сентиментальному или, наоборот, интеллектуальному, – и потому, как сказано, впечатление от лучших французских фильмов именно как от пережитых в юности стихов: они не идут дальше поверхностного потрясения.

Так в финальной сцене очень неплохого французского фильма «Двое в городе» Ален Делон, прежде чем его уложат на гильотину, бросает последний взгляд на своего ментора и друга Жана Габена: в нем и йота отчаяния, и йота страха, и йота скорби, – остальные же девяносто семь процентов его субстанции состоят только из того, что он просто – последний и это, конечно, потрясает.

Не уступает ему и ответный взгляд Габена: долгий, потухший и бесстрастный, но не равнодушный, а только пытающийся намекнуть, насколько в данной ситуации неуместно любое привычное сочувствие и утешение.

Как дважды два четыре. – Кажется, никто в Голливуде не уделяет столько внимания работе актеров с глазами, как режиссер Серджио Леоне, – о своем любимом актере Клинте Иствуде он сказал: «У него только два выражения лица – одно в шляпе, а другое без шляпы», – но этого достаточно! о другом актере Чарльзе Бронсоне Леоне заметил, что тот своим взглядом может остановить поезд, – и тоже в точку; зрителям минутами показывают их глаза – и нисколько не надоедает, разумеется, причина тут в первую очередь в остром сюжете, а долгие взгляды героев как бы замедляют и плюс к тому кристаллизуют драматизм ситуации: взглядовые кадры точно паузы, в которых центральный конфликт с неподражаемой оптической ясностью замирает, подобно насекомому в янтаре.

И как идеи, по мысли Платона, являются сущностными сгустками земных событий, так взгляды героев у Серджио Леоне воплощают стержневую и как правило смертельную коллизию, а поскольку зритель, как и любой человек, существо прежде всего духовное, то и покидает он зрительный зал прежде всего с впечатлением о глазах персонажей, их он уже не забудет никогда в жизни, – и хотя, конечно, финальные дуэли чертовски интересны и без них не обойтись, все-таки взоры дуэлянтов во время дуэли, но также и до нее суть та пуанта, которая по величине художественного эквивалента – о силе воздействия уже не говорю – не уступит никакому классическому искусству: итак, взгляд как центр тяжести современного актерского искусства на Западе, – и только потом идут уже жест и слово.

А не наоборот, как может подумать человек, не сведущий в тонкостях актерской игры.

Запретный плод всегда сладок. – Опустошенный и бесцветный, с провалом вовнутрь и в пустоту, бесновато-одиозный и все-таки фанатически убежденный в собственном роковом избранничестве взгляд Гитлера перед финалом.

И вампирически насыщенный коварством и вероломством, масляно отсвечивающий беспредельной мстительностью, на редкость поражающий злопамятством, подобно Медузе Горгоне обращающий в окаменевший страх любое человеческое побуждение и всегда один и тот же, неподвластный возрасту взгляд Сталина.

Оба взгляда – квинтэссенции их демонических сущностей, таких родственных и разных, – которая из них предпочтительней? можно ли здесь вообще говорить о какой-то предпочтительности?

С точки зрения Жизни вряд ли, потому что оба настолько радикально выступили жрецами Смерти, что говорить, что они что-то сделали для Жизни, равнозначно кощунству: разумеется, что-нибудь да сделали, но какой смысл калякать о миллиграммах Добра, когда на чашку Мировых Весов плюхнулись тонны Зла?

Строго говоря, Сталин был к Жизни с большой буквы чуть ближе, чем Гитлер, доказательство здесь прежнее и вечное – связь с женщинами: у Сталина, несмотря на весь ужас любовных отношений, связь эта все-таки была и связь эта была довольно крепкой, а у Гитлера связь с женщинами в сексуальном смысле держалась на гнилой нитке, хотя женщины были от него без ума, миллионы немецких женщин, но это другое, – не мужским обаянием привлекал Гитлер женщин, а темной магией самоубийственного для себя и своей страны избранничества.

Стало быть, не с позиции Жизни обоих можно и нужно судить, а с позиции Зла и Смерти, и то обстоятельство, что последняя имеет столь же ярко выраженную эстетику, не подлежит сомнению, причем эстетика эта не мертвая и формальная, а живая и экзистенциальная: она как чешуя, облегающая некое опасное, но не лишенное обаяния чудовище и имя этому чудовищу – магия Смерти; не побоимся сказать, что отдаленный отблеск великой Римской империи лежит на Третьем Рейхе, а один из величайших духовных вождей человечества, Парамаханса Йогананда, и об этом мало кто знает, даже объявил Гитлера реинкарнацией Александра Македонского.

Итак, магия Смерти, – уже во взгляде удава сквозит та страшная притягательность, которая начисто парализует жертву, Редьярд Киплинг в своей замечательной «Книге Джунглей» пошел еще дальше, показав, как не только жалкие обезьяны окаменели под магическим взглядом удава Каа, но даже его друзья, сильнейшие звери, медведь Балу и черная пантера Багира, почувствовали, как глаза змеи начали помимо воли парализовывать их волю.

И конечно же, сравнение Гитлера с таким удавом напрашивается само собой, но оценка немецкого фюрера в таком ключе – это уже совсем иное, нежели суд над ним как массовым убийцей миллионов невинных людей, в такой оценке начинает незаметно брать верх эстетический критерий, который мало заботится о морали; да, холокост – это одно, его никто не отрицает, а блестящий и холодный, как сталь, миф о посредственном художнике, венском бомже и просто больном и неудавшемся человеке, который, подобно Золушке, сделавшейся принцессой, стал непонятно каким образом вождем великой нации и более того, являясь во всех отношениях любителем – случай, кажется, единственный в истории – сумел сыграть в ней роль, сопоставимую с самыми почетными, независимо от знака, – куда еще идти дальше? – итак, этот миф, заигравший сатанинскими гранями, – совсем другое дело.

И так уж получилось, что образ убийцы шести миллионов евреев и тридцати миллионов неевреев по крайней мере в сознании среднего европейца прекрасно уживается с образом человека, который как бы двенадцать лет находился под личным присмотром Предопределения с большой буквы, а это в общем-то и большой стаж и большая честь, и если Предопределение разыграло с помощью фюрера дьявольский сюжет, – так от этого оно стало еще интересней.

О «недостатках» же немецкого фюрера – приходится брать это слово в кавычки, настолько оно странно в данном контексте – все знают, но что сказать о его «достоинствах» – и здесь без кавычек тоже не обойтись? причем достоинства не условных и зависящих от возраста, национальности или склада характера, а, так сказать, абсолютных и общечеловеческих, с которыми согласился бы в глубине каждый из нас? есть ли вообще такие?

Рассуждаю так: если кто-то взял чужую жизнь, то, согласно вечному и неизменному закону мировой справедливости, в который раз и лучше всех провозглашенному Шопенгауэром, он должен взамен отдать свою, а если человек забрал миллионы чужих жизней, то оправдать его – не нравственно, тут вообще никакого оправдания нет, но хотя бы эстетически и косвенно – может только собственная мужественная смерть, – ведь и поныне раздаётся: «Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!», то есть еще среди гладиаторов только тот имел шанс спасти жизнь и снискать симпатии зрителей, кто не боялся смерти. Макбет, свершая чудовищные преступления шел в одном только направлении – к собственной насильственной гибели, он где-то даже внутренне искал ее, это чувствуется между строк, убив короля, он как бы потерял свое «место под солнцем» и отныне единственной формой существования для него сделалось неумолимое приближение к смерти, – такова композиция и внутренняя музыка шекспировской трагедии. Сходные мотивы улавливаются в судьбе Гитлера: также и он был внутренне непричастен «живой жизни», зато тайно был обручен с фрейдовским «инстинктом к смерти», Гитлер должен был не только сам погибнуть, но и увести с собой свою страну, и еще миллионы других жертв, так нужно было Смерти, чьим служителем он являлся; тем не менее, поскольку страх смерти был ему как будто чужд и он сумел покончить с собой, это выгодно отличает его от другого знаменитого тирана – нашего Сталина, который, правда, привел свою страну к победе, но жизней увел с земли куда больше Гитлера, причем – немаловажный оттенок – если Гитлер уничтожал только своих врагов, а лояльный по отношению к нему человек мог на него положиться как на самого себя, то Сталин в основном уничтожал своих друзей, что вообще с точки зрения нравственности, любой нравственности, никоим образом непростительно. Также и Нерон во многом оправдал свои преступления, бросившись на меч или по меньшей мере приняв постороннюю помощь, люди, способные сделать харакири, вызывают наше великое уважение, а то и безотчетное восхищение, – и оно распространяется на повседневность, – когда приходит пора многодневных, многонедельных или многолетних мучений от старости и болезней, тот или та, кто выпивает с улыбкой смертоносный снотворный коктейль, кажется нам ближе и величественней тех, кто страдает до последнего издыхания: вот эта простенькая на первый взгляд готовность добровольно покинуть жизнь, что ничего уже, кроме бесконечных болей и унижений собственного достоинства дать не в состоянии, – она-то в нашем сознании продолжает граничить с чудом, потому что, уходя раньше времени из жизни, человек лишается не только страданий, но и некоторых субстанциальных ценностей, как то: еще несколько дней иметь близость родных, еще несколько дней видеть небо и деревья в окне, еще несколько дней просто жить.

Кроме того, как принято думать, преждевременный уход умаляет уверенность в астральном приюте, потому что «там» как будто не любят своеволие, получается, что уходящий преждевременно совершает как бы нечто почти невозможное, – и потому возвышается неизмеримо в наших глазах.

Но удивляемся мы также и тем, кто сумел преодолеть инстинктивный страх перед смертью, даже если это великий злодей: ведь почему-то с громадной долей вероятности кажется, что Сталин на месте Гитлера, загнанный в угол, все-таки не покончил бы с собой, но – бежал бы, бежал бы, бежал бы... куда? скажут – некуда, почему же? допустим, в ту же Южную Америку, с пластической операцией и новым паспортом, Гитлер вполне мог бы выбрать такую жизнь, то есть хотя бы попытаться, но он выбрал добровольную смерть.

Да и прежде, при многочисленных – кажется, больше десятка – покушениях на него он не особенно упрекал свою личную охрану, будучи убежден, что люди все равно не в состоянии уберечь его, но исключительно Провидение, что оно и делает, по его мнению; Сталин, к слову сказать, в случае покушений на его драгоценную жизнь, да еще многократных, не

только казнил бы всю свою охрану, но и добрался бы до их родственников, до их соседей, до их сослуживцев.

Опять-таки, все познается в сравнении, а значит и бесновато-одиозный взгляд на эстетических весах весит чуть больше коварного взгляда, – это, между прочим, косвенно доказывает судьба Евы Браун, которая добровольно ушла с Гитлером в Смерть, накануне совместного самоубийства сделавшись официально его женой; у Сталина, несмотря на гораздо больший, судя по всему, сексуальный потенциал, сравнительно с Гитлером, такой Евы Браун не было да и не могло быть, – вот в чем все дело.

Иными словами, как невольный артист на подмостках Истории Гитлер все-таки бесконечно превосходит Сталина, и это бесспорный факт, – обо всем же остальном можно спорить.

Свераясь в зеркале. – Многотомные сюжеты о Будде и Иисусе: человек бегло их просматривает и, задумчиво почесав затылок, ставит обратно на полку; как ему жить? вся беда в том, что он знает об этом и без них и почти никогда не ошибается, хотя, если бы его спросили, как он догадался о своем жизненном предназначении, не спрашивая духовных вождей человечества, он бы, наверное, смутился, не зная что сказать.

Между тем мимолетний взгляд на себя со стороны – и как правило, в зеркало – ставит тут все точки над *i*: человек не может себя представить вождем человечества, но и покорным учеником, заглядывающим в рот учителю, он тоже себя не мыслит, он не видит себя ни во главе армии, ни за фортепиано, ни в дипломатических кулуарах, ни в роли Дон Жуана, ни за операционным столом, – и все это написано на его зеркальной физиономии с монументальной неоспоримостью Моисеевых скрижалей.

Короче говоря, не прочитав ни единой философской строки, человек каким-то непостижимым образом догадывается, что отношения между людьми, народами и даже самими чертами характера в человеке определяются исключительно законами гармонии, почему и провозгласили издавна музыку не только верховной из искусств, но и тайной устроительницей любого космического порядка, так что если, например, некто желает вам зла или просто к вам недоброжелателен, вы легко доискиваетесь до причины: обычно все дело в несовместимости характеров, отсутствует опять-таки гармония, которая в жизни не менее важна, чем в музыке, – иной раз ведь с очень добрым человеком сойтись труднее, чем с обладателем крупного недостатка: его изъян вас почему-то не раздражает, а бывает, вам даже странно приятен.

Вообще как часто люди общаются не за счет своих добродетелей – на них они не держались бы и полчаса – а как раз за счет своих недостатков, и как органично, как естественно подобное общение! люди в меру сплетничают – и все в порядке, но стоит кому-нибудь завести разговор на слишком «высокую» тему – и все идет к черту! вот вам и решение вопроса о мнимом первенстве абсолютной доброты, – итак, светоч добродетели или религиозный кумир нам по большому счету безразличны, нам куда симпатичней наш добрый приятель или друг детства, а почему? да потому что мы интуитивно чувствуем: случись бы нам встретиться с тем светочем или кумиром, он бы нас на пушечный выстрел к себе не подпустил или в крайнем случае акцептировал бы нас исключительно при условии безоговорочного духовного ему подчинения, – да так только и было в истории.

В жизни мы, таким образом, подбираем себе друзей и приятелей – а судьба в том же композиционном ключе подбирает нам родственников – точно по такому же принципу, по какому к главному герою в романе подбираются второстепенные персонажи, а сам главный герой подбирается соответственно к основному замыслу произведения, и далее, как по цепочке, к персонажам подбираются их биографии, к биографиям – разного рода коллизии

и обстоятельства, к тем и другим – диалоги, монологи, пейзажи, авторские отступления, и так далее и тому подобное.

И потому, съев бутерброд с колбасой и бросив на ходу жене, чтобы она его не дожидалась к ужину, наш герой отправляется к приятелю: он еще не знает точно, чем они там с ним будут заниматься, но тот факт, что подобное времяпровождение доставит ему больше удовольствия, чем все то, к чему его стали бы под разными соусами принуждать заниматься любые законодатели внутреннего развития, а главное, что он с приятелем просто смотрится лучше и естественней, чем в любом другом амплуа, не вызывает у него ни малейших сомнений.

Ведь в зависимости от того, насколько мы, сознательно или бессознательно, оцениваем несостоявшийся личный контакт с той или иной великой (и как правило уже умершей) персоной, устанавливается и наше к ней отношение: одних мы заведомо любим, поскольку легко представляем себя с ними в дружелюбных или даже приятельских отношениях, других просто уважаем, потому что интуитивно чувствуем между ними и собой дистанцию непроходимого размера, а третьих тайно недолюбливаем, так как догадываемся, что и они нас никогда бы не сумели полюбить.

Здесь же и корни так называемой тайной недоброжелательности: казалось бы, встретились люди, переговорили и разошлись, и ничего ровным счетом между ними не было, никаких дел и событий, а между тем недолюбливают они друг друга страшно и вроде бы без видимой причины, но это только на первый взгляд, причина есть и причина серьезная: они нутром чувствуют, что, случись им конфронтировать в иной ситуации и при иных условиях, разгорелся бы между ними смертельный конфликт, – сюжетная основа человеческих взаимоотношений, таким образом, очевидна.

Опять-таки, наш скромный герой мог бы проверить безукоризненную правильность своего поведения сверяющим взглядом на себя со стороны, но даже это ему не нужно, он безошибочно действует вслепую, вопросительный взгляд на себя со стороны – и, как правило, опять в зеркале – понадобится ему лишь в том случае, когда возникнут первые серьезные сомнения на свой счет, – и вот вопрос о том, что лучше: иметь такие сомнения или не иметь их, есть поистине основной вопрос философии, и только потом уже идут праздные рассуждения о том, объективен мир или субъективен.

III. Прикасаясь к мирам иным

Люди и животные

I. (Фантастическая метаморфоза). – Человека, в особенности незнакомого, мы оцениваем прежде всего по глазам, по характерному взгляду, – и точно так же по глазам и никак иначе мы оцениваем любое животное.

Допустимо ли сравнивать человека с животным? каверзный вопрос, потому что практически нет такого физического или психологического качества, которое было бы у человека, и которого не было бы у животных, так что даже спросив себя, есть ли у животных душа, мы, внимательно взглянув в глаза собаке или кошке, вынуждены ответить, несмотря на противоположные заверения иных мировых религий: если у человека есть, значит и у животных она есть, а если у человека нет, то нет ее и у животных.

Но тогда где же пролегает тот таинственный водораздел между людьми и животными, существование которого все мы молчаливо признаем, однако при конкретизации которого наталкивается всегда на невероятные трудности?

Я думаю, что водораздел этот – смерть, и не в том плане, что животные не чувствуют приближения смерти – они чувствуют ее острее людей и реагируют на нее столь же драматично, как люди – но животные, как мне кажется, не в состоянии воспринимать в высшей степени загадочную и антиномическую природу смерти.

Что было бы, если бы люди уходили в смерть как животные? есть такое заболевание: дети к четырнадцати годам завершают цикл жизни, становясь старичками и старушками, примерно как в той «Сказке о потерянном времени»: у них сморщивается кожа, повсюду появляются морщины и необманчивое стариковское выражение проступает на маленьких и по существу все еще детских личиках; жить таким детям остается один-два года, медицина им помочь не в силах, болезнь их называется прогерия, – редчайшая болезнь, приходится она на одного из нескольких миллионов жителей планеты, но регулярно приходится.

Природная аномалия? положим, но разве многим от нее отличается конец тех, кто умирает в раковых корпусах или в домах для престарелых? скажут: здесь принципиальная разница, в одном случае финал, предначертанный самой матерью-природой, а во втором чудовищная аномалия. Тогда сделаем мысленный эксперимент: допустим, что болезни и старость не заканчиваются тем, чем они заканчиваются, то есть смертью, а становятся как бы последней ступенью перед метаморфозой: превращением человека в обезьяну или жабу, змею или насекомое, льва или крокодила, сообразно склонностям характера и кармическим заслугам, и допустим, что процесс этот естественный, закономерный и неизбежный. Так что же – согласились бы мы с таким финалом? но не согласиться значит попросту покончить с собой, – и почему-то думается с цинической долей достоверности, что мы позволили бы матери-природе проделать над собой любой опыт, но при условии, что она сделает это мастерски, то есть убедительно, правдоподобно и без альтернатив, что делать! мы по натуре своей великие приспособленцы, мы покорно идем по пути, предначертанному нам разного рода мировыми законами, и если бы путь этот не оканчивался смертью, а вел бы к дальнейшим перерождениям: от высоко одухотворенным животным к менее одухотворенным, потом к рептилиям и далее к насекомым... что же! мы, очевидно, проделали бы и такой путь, более того, мы привыкли бы к нему, как привыкли идти из века в век по проторенной дорожке от рождения к смерти... тем более что в час, когда нам суждено будет принять облик чужеродного существа и низшей твари, мы будем уже наполовину тем, чей облик должны принять.

Всего лишь милосердие матери-природы: ведь страдающий обычно так привыкает к своему страданию, что сострадающий ему, кажется, страдает больше, чем сам страдающий, а наши родные и близкие сопровождали бы нас в нашу метаморфозу, как сопровождают они нас теперь в смерть, то есть ухаживали бы за нами как за особо полубившимися животными: тем более, что они знали бы наверняка, что и их ждет та же участь.

Я думаю, что при таком жизненном финале в людях было бы даже больше тепла, любви и сострадания, нежели при нынешнем окончании жизни смертью, потому что все стадии метаморфозы были бы телесные и зримые, тогда как смерть уводит человека в полную неизвестность: это все равно что сравнить любовь матери к своему ребенку с любовью человека к Богу, который по определению – невидим и непостижим, в первом случае – максимум конкретности, во втором – максимум абстрактности.

Разумеется, христианская любовь претендует на конкретность, не уступающую материнской любви – здесь даже своеобразный «гвоздь» христианства – но мы говорим не об избранных святых, чей опыт именно вполне конкретен, исключителен и неповторим, а о все тех же «простых смертных», у которых насчет Всевышнего обычно нет никакого конкретного опыта, а есть лишь разного рода домыслы и догадки.

Смерть в своей заключительной стадии упраздняет любые узы родства, которыми живет как человечество, так и животный мир, и потому умирающий человек, как бы он ни был искажен болезнью или старостью – это все еще проходящий стадии метаморфозы, а стало быть привычный своему окружению человек, но умерший человек – это уже феномен, вышедший за пределы любой метаморфозы и вошедший в измерение, недоступное живущим, – такого феномена в мире природы и животных не существует.

Итак, монументальная альтернатива – понятая, кстати говоря, всего лишь как реинкарнация в ее обнаженном виде – не состоялась, ее место заняла смерть, как она нам дана испокон веков, – ведь существо смерти для нас состоит в абсолютной и потому великой и таинственной – неизвестности, а развилки дальнейшего пути, уходящего в ничто, реинкарнацию или царство Божие, гипотетичны, уверенности ни в чем нет, вера становится важнейшим духовным качеством, – и вот из великой и таинственной неизвестности смерти, как из безвидной основы, исходят, тут же поселяясь в человеческой природе, великий и таинственный страх и великий и таинственный ужас, великое и таинственное мужество и великое и таинственное достоинство, великие и таинственные страсти и великое и таинственное беспокойство, великое и таинственное отчаяние и великая и таинственная надежда, великая и таинственная сила и великая и таинственная слабость.

Короче говоря, все, что так или иначе связано со смертью, несет на себе печать величия и тайны, чего нельзя сказать о гипотетической метаморфозе, описанной выше, – смерть, таким образом, является наиболее художественным вариантом финала жизни, и более того, все прочие варианты на ее фоне выглядят более-менее беременными субстанцией хоррора: существует, например, роман (и фильм) Скотта Фицджеральда о некоем Бенджамине Баттоне, родившемся стариком и развивавшемся наоборот во времени, от старости к юности и детству, так что он умер грудным младенцем на руках своей жены и в его смерти было тоже что-то от хоррор-жанра.

Итак, поскольку жизнь и смерть изначально и органически взаимосвязаны, постольку тень смерти «присно и во веки веков» лежит на жизни, а музыка смерти в качестве основной тональности инкрустирована в музыку жизни, – и вот этой тенью и этой музыкой является как раз вечное томление, разлитое по жизни во всех ее без исключения проявлениях, да, именно так: жизнь в ощущении людей – это вечное томление по неопределенному, с разной степенью интенсивности и в разных тональностях, а человеческий взгляд это вечное томление с зеркальной точностью всего лишь отражает, тогда как у животных восприятие жизни несколько иное – и потому у них в глазах подобного томления в глазах нет и в помине.

Вот вам и главная разница между человеком и животным, и постигается она прежде всего во взгляде в глаза человеку и животному, — ну, а то обстоятельство, что не во всяком человеческом взгляде читается двойная печать жизни и смерти, есть всего лишь досадная издержка, издержка, которую каждый из нас должен по возможности избегать.

II. (Кот). — Когда я с постели иногда бросаюсь завтракать, а мой любимый «британский короткошерстный», души во мне не чающий и смысл жизни, кажется, видящий только в нашем любовном общении, и потому безусловно предпочитающий процесс поедания своего корма ласкам и разговорам со мной, — так вот, когда этот кот, лежа на комод, видит, как я, не пожелав ему еще даже доброго утра, сразу бросаюсь к еде и к кофе — правда, в свое оправдание, больше к кофе, чем к еде — он смотрит на меня тем суровым, тусклым, неодобрительным и все-таки бесконечно снисходительным к человеческим слабостям взглядом, — который плотностью и полнотой бытия, из него зримо исходящей, невольно заставляет меня на минуту забыть о вещах более легковесных, умственных и потому сомнительных, каковы, например, все те вопросы, которыми я занимаюсь выше и ниже.

И это, может быть, не так уж и плохо.

III. (Собака). — Она стояла на мосту с тоскливым и прибитым видом, несмотря на повторные окрики хозяина, она никак не могла отказаться от удовольствия тщательно и все-сторонне меня обнюхать, и взгляда ее — снизу вверх, извиняющегося, слегка заискивающего, жалобного и до боли искреннего можно было бы даже устыдиться: вот, мол, кто она и кто я, и какая бездна пролегает между нами — если бы она не рассматривала меня в первую очередь как любопытно пахнущий предмет.

И вот хоть на короткое время оказаться таким любопытно пахнущим предметом, на которого взирают с благоговейным любовным вниманием, точно в первый день творения, вниманием настолько пристальным, что, глядя в собачьи глаза, вы забываете все на свете, и в то же время вниманием настолько ненавязчивым, что вы, зная, что о вас в следующую минуту навсегда забудут, чувствуете себя свободным, как ветер, свободным, как вы никогда не были свободны среди людей, — да, в этой мимолетной встрече с миром животных есть что-то абсолютно первобытное и даже, я бы сказал, райское, хотя не обязательно в библейском смысле слова.

Тем более, что появляется странное, непонятное, но вполне осязаемое блаженство полноты общения, точно вы встретились и поговорили с человеком, которого не видели двадцать лет: только в одном случае полноте общения сопутствовали минувшие годы, а в другом — считанные минуты, однако результат почти один, — вот в такие именно минуты не умом одним, а всем нутром своим начинаешь понимать, почему люди нас так часто разочаровывают, а домашние животные практически никогда, — и хотя из этого никак не следует, что животных нужно любить больше, чем людей, мы все-таки, точно назло кому-то, упорно продолжаем это делать.

IV. (Один шаг). — Просмотрев в интернете ролик с леопардом, который будучи, наверное, очень голодным, прицепился к дикобразу, во что бы то ни стало решил разделаться с ним, получил множество укусов, потом все-таки ухитрился схватить его снизу и, вывернув наизнанку, долго держал за горло на весу, так что тот, конечно, испустил дух, однако аппетит у леопарда очень скоро прошел, и от болезненных проколов он сам вслед за своей жертвой отправился к безымянным духам животного царства, — итак, в который раз став свидетелем того, что в природе, несмотря на ее первобытную красоту и образцовую для нас, людей, гармонию, нет по сути ничего кроме борьбы за выживание, причем борьбы не на жизнь, а на смерть, да еще продолжающейся ровно столько, сколько отпущено жизни тому

или иному животному, – да, засвидетельствовав заново сей вечно повторяющийся спектакль, я вспомнил о главной заповеди Будды, гласящей, что именно страдание и смерть, поистине безраздельно царящие на земле, призваны вызвать инстинктивное сочувствие в человеческом сердце, сочувствие же должно пробудить любящую доброту, а поскольку страдание и смерть субстанциальны, то есть вечны и непреходящи для всех живых существ, постольку и основанная на сочувствии любящая доброта ко всем живым существам должна быть тоже вечной и непреходящей: да, здесь нравственная сердцевина всего буддизма, и тем не менее, несмотря на ее предельную внутреннюю красоту, я вынужден был заметить – пока только для себя самого, хотя, как мне кажется, очень многие люди согласятся со мной – что игра жизни и смерти именно в природе, где кроме нее на самом деле ничего больше нет, и вправду в человеческом сердце вызывает поначалу безусловное сочувствие, но дальше это чувство, как иная река, может раздваиваться, и один ток сочувствия – географически находящийся в азиатских регионах – движется ко всеобъемлющей буддийской любящей доброте, а другой его ток – протекающий через психику всего прочего человечества – впадает (так река впадает в море) в общее, громадное и неопределенное ощущение некоторого непостижимого и, я бы сказал, величественного недоумения от происходящего на земле и, в частности, в природе, – а вот от этого уже недоумения до некоторого благородного удивления (чему? да все тому же универсальному и безжалостному закону жизни и смерти) поистине один шаг: сделав этот шаг, мы точно возвращаемся после долгих странствий в родную гавань, и ничего уже не нужно больше искать или выяснять, все стало раз и навсегда ясным и очевидным.

Но что? как что? тот самый спектакль, что был упомянут выше, – он и стоит в центре творения, а эпизод с леопардом и дикобразом был всего лишь малым актом его, – и хотя лицезрение наше окружающего мира, как ни крути, напоминает жестокие римские зрелища и даже отдает некоторым цинизмом, особенно на фоне той самой великолепной буддийской любящей доброты, хотя мы вечно в глубине души будем его немного стыдиться, и хотя философия игры может иным показаться самой примитивной из всех возможных философий, все-таки никто и ничто не в состоянии вытравить до конца из нашей души эту первичную и глубочайшую интуицию.

Так что тот шаг от сочувствия к недоумению – поскольку следующий шаг, к почти уже эстетическому удивлению, сам по себе слишком легкий и в каком-то смысле необратим – есть, быть может, самый малый, но вместе и самый значительный, самый решающий для всего нашего дальнейшего духовного пути шаг.

V. (Сравнение, которое не хромает). – Хотя игуана может часами пребывать в бездвижном состоянии, которое у людей зовется умственным отдыхом или медитацией, и хотя характеры людей имеют морфологическое сходство с животными, все-таки затруднительно утверждать внутреннее родство между этими ящерицами и медитирующими людьми, – но еще более затруднительно категорически отрицать его: именно по причине полной невозможности заглянуть вовнутрь немигающей игуаны или замершего в глубокой задумчивости человека; в конце концов мы вынуждены, как и обычно, выносить решение на основании внешнего облика вещей, – и вот естественная и легкая допустимость сравнения задумавшихся или медитирующих западных людей с игуаной и одновременно полная недопустимость сравнения ящерицы с людьми, выросшими в буддийских или индусских регионах, – оно, это двойное сравнение, и демонстрирует косвенно тонкую, но очень существенную разницу между обоими духовными мирами.

VI. (Соперничество). – Это качество всегда и без исключения довольно страшная вещь: оно уже между супругами работает как мина замедленного действия, оно в состоянии разрушить любую дружбу и погубить на корню любое живое и теплое чувство, оно разру-

шительно во всех областях жизни за исключением, быть может, спорта, оно явилось причиной многих войн, и оно же, как поговаривают злые языки, было главным мотивом отпадения Люцифера от Бога, – в мире животных центральную роль соперничества можно наблюдать на примере приручения львов и тигров: действительно, если, с одной стороны, собака сама по себе не может быть злой, когда хозяин ее добрый, и если, с другой стороны, змею приручить невозможно по причине змеиной ее природы, то укрощение тигров и львов неизменно стоит на обоюдоострой грани, то есть сохраняется риск смертельного нападения на человека, будь то укротитель или посторонний, а все потому, что львы и тигры – в отличие, например, от более слабых хищников, таких как пантера или леопард, которых можно воспитывать без страха для жизни и которые способны реально впитывать в себя человеческую любовь и (только) вместе с нею ощущение естественного превосходства людей над животными – так вот, тигры и львы чувствуют себя в первую очередь не друзьями и тем более не подчиненными человека, а его врожденными соперниками, и ничто не может устранить до конца в них это царственное и вместе ужасное настроение души: сам образ человека понуждает их нападать на него снова и снова, даже если они сыты и нет угрозы потомству, в случае же их приручения запоздалое и внезапное осознание нанесенного их природному достоинству оскорбления чревато гибелью для всякого, кто оказывается в этот критический момент в их непосредственной близости.

VII. (Прискорбный случай). – Недавно произошедший в зоопарке Цинциннати (штат Огайо) и на шумевший на весь мир случай, когда служители зоопарка вынуждены были застрелить семнадцатилетнего самца гориллу по кличке Харамбе, потому что тот около десяти минут таскал туда-сюда нечаянно упавшего в его вольер трехлетнего мальчугана, показывает, во-первых, что миф о Кинг-Конге не высосан из пальца, но основан на глубокой внутренней правде: чудовищная обезьяна, оказывается, может иметь чуткое и благородное сердце, во-вторых, он (случай) подтверждает исконное недоверие Маугли к людям, а также великолепно развитую из него (недоверия) шопенгауэровскую философию, провозглашающую как нечто само собой разумеющееся общее нравственное превосходство животных над людьми – речь идет о большинстве, но не об исключениях – (не было никаких признаков того, что обезьяна намеревалась убить малыша, быть может она даже пыталась его уберечь от толпы), в-третьих, случай этот косвенно доказывает правомерность буддийской гипотезы о шести бытийственных мирах: в том смысле, что нравственные и духовные качества, определяющие специфику того или иного мира, не обязательно соответствуют его морфологическому единству, так что даже среди особенно сильных животных существует, например, разделение на враждебных человеку (львы, тигры и крокодилы) и дружелюбных к нему (те же гориллы), и, наконец, в-четвертых, он (случай) демонстрирует чрезвычайно тонкое и всегда висящее на шелковой нитке равновесие во взаимопонимании как между людьми, так и тем более между людьми и животными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.